

ВАЛЕРИЙ

ПОПОВ

**ВЫ-
ДУМ-
ЩИК**

18+

Жизнь как роман

Петербург. Текст

Валерий Попов

Выдумщик

«Издательство АСТ»

2023

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Попов В. Г.

Выдумщик / В. Г. Попов — «Издательство АСТ»,
2023 — (Петербург. Текст)

ISBN 978-5-17-161244-3

Валерий Попов — прозаик, мемуарист, автор книг «Жизнь удалась», «Чернильный ангел», «Комар живет пока поет», «Плясать до смерти», «Довлатов» (в серии «ЖЗЛ»); представитель петербургских шестидесятников; был знаком с Андреем Битовым, Сергеем Довлатовым, Иосифом Бродским, Виктором Голявкиным, Владимиром Уфляндом. В книгах Попова — всегда гротеск и фантазия, его тексты называют «яркими, абсолютно личностными, штучными по фактуре». «Под взглядом Валерия Попова очастливленная действительность одним рывком выходит к иному, недоступному в обычной жизни уровню интенсивности. Луч света из ранних книг Попова добирается до его поздних сочинений, как излучение непогасшей звезды» (Александр Генис).

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-161244-3

© Попов В. Г., 2023
© Издательство АСТ, 2023

Содержание

1	6
2	17
3	21
4	32
5	42
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Валерий Георгиевич Попов
Выдумщик
Роман

* * *

© Попов В. Г.

© ООО «Издательство АСТ»

1

Я стою, укутанный, возле своей арки, рядом белые, на фоне тьмы, сугробы и ухабы. Справа появляется пьяный и съезжает в ухаб прямо передо мной, успев лишь мотнуть головой, и к моим ногам прилетает его потерянная ушанка. И в замерзшем моем теле вдруг оживает горячая душа, я хватаю его шапку, бережно отряхиваю варежкой и, обогнув ухаб, протягиваю ему. Он изумлен. Тут грабят обычно, и вдруг – ангелок! Недоверчиво взяв шапку (жизнь меняется, что ли?), он лезет за пазуху – и подает мне мятый трояк: чуть маслянистую, сине-зеленую купюру, с воинами в шлемах (танкисты или летчики?). Сняв варежку, я вежливо беру... И он тут же заскользил в следующую яму, откуда стремительно вылетел, ногами вперед, снова утратив шапку... Вырвал ее из моих рук и сразу же вслед за ней – трёшку, которую я не успел еще спрятать (да и не знал куда). «Устроили тут!» – пробормотал он и ушел, оставив меня изумленным.

Для меня и ленинградская квартира, в которую мы недавно переехали из Казани, полна тайн. Наш дом в старинном Саперном переулке, в Преображенском полку (как писали когда-то на письмах), казался таинственным замком. Даже в квартире были какие-то загадочные темные тупики, обрубки коридора, непонятные ниши в стене, куда-то ведущая маленькая дверка над большой дверью. Отец не разрешал мне туда залезать, но я знал, что там живут маленькие люди. По ночам – я видел это несколько раз – они спускали оттуда доски и съезжали на маленьких мотоцикликах – правда, в полной тьме.

У другой стены росла огромная, зеленая, ребристая батарея отопления – почти до самого потолка. Почему-то я сразу же мысленно назвал ее лошадь: нижняя труба, уходящая в стену, – хвост, верхняя труба, уходящая в потолок, – шея. А голова где-то там, в загадочном, недостижимом пространстве за потолком, видит то, что мне не увидеть. Притом – в ребристом животе батареи-лошади плещутся и булькают рыбки, я-то явственно слышу их, приложив ухо к горячим ребрам. «Плещутся? В кипятке?» – насмешливо спрашиваю я себя. «Да!»

Слушая батарею, я ловил изумленно-огорченные взгляды родителей. Это огорчало и меня. Но что делать, если самое важное – там.

Еще одна загадка – кованный старинный сундук. В Казани он был в бабушкиной комнате, а здесь стоял в коридоре. Нам строго-настрого запрещали открывать его. Почему? Оказывается, мы можем в нем захлопнуться и задохнуться. Делать нам больше нечего! Я мог попросить бабушку открыть сундук... но тогда, я чувствовал, тайна бы исчезла.

И, умело прикинувшись больным (даже температура повысилась!), я остаюсь дома, и, как только все ушли и хлопнула дверь за бабушкой, ушедшей последней, – я тут же покидаю кровать. Бабушка любит ходить по магазинам, так что час у меня точно есть. Босым, чтобы можно было сразу оказаться в постели, я бесшумно иду по коридору. Всё тщательно продумано. А значит, серьезно. Я найду там какую-то тайну жизни!

И я впервые подхожу к сундуку. Вот он стоит в углу коридора, косо освещенный солнцем. Из другой эпохи он! Бронтозавр среди прочей нашей невзрачной мебели. Обитый синим непроницаемым железом, да еще сверху, крест-накрест, железными полосами, образующими ромбы, – и на стенках, и на крышке. С крышки свисает тяжелая ручка с дыркой для кольца, вделанного в сундук. В кольцо должна входить дужка всяческого замка. Я его помню. Но нет его! Сняли родители. Представить себе ребенка не только закрытым в сундуке, но еще и запертым на замок! – выше их сил. И нервы их сдали. И замок они сняли. Беру в ладошку смертельно холодную висячую ручку и тяну крышку вверх. Заело! Но это не повод отступить. Дергаю, и вот крышка сундука поднимается с древним скрипом, и открывается... синяя ткань, закрывающая всё. Нельзя туда! Ясно тебе?.. Не совсем. Ткань не отбрасываю – слишком дерзко, но запускаю под нее руку, ощупываю какой-то предмет. Сердце колотится. Странно – этот предмет я знаю.

Откуда? Как это может быть? Я, что ли, жил раньше... тогда? От мысли такой задыхаюсь – но предмет медленно вынимаю... Знаю его. Фотография в рамке. Портрет! Бабушкин старший брат. Аркадий, называла его она, а мы его, когда он приезжал в Казань, называли ласково дядя Кадя. Красивое, благородное, чуть надменное лицо с густыми бровями... Китель большого технического начальника с молоточками в петлицах. Слышал за столом от взрослых, что он работал в Кемерово, почему-то с уголовниками, руководил строительством... и вдруг портрет его спрятали в сундук. Но не выбросили! Залезаю еще раз. Нашупываю... пенал. Очень тяжелый. Рука такого не помнит. Не сундук, а какой-то лаз в прошлое. Вытаскиваю. Пролонговатая серая коробочка, обтянутая... даже не знаю чем. Закрытая сбоку на тоненький, плоский, похоже, латунный крючок. Что-то очень важное там должно быть. Пустое в сундук не прячут. Откидываю крючок, поднимаю крышку... и замираю. Атласное алое нутро – с углубленьями, и в них – ряд изящных гирек с головками, от самой крупной, величиной с орех, – до самой крохотной. Целый мир! В крышке изнутри – матерчатая петля, куда вставлен тонкий пинцет, способный взять любую гирьку за шейку и – поставить на весы. А где сами весы? Какой-то точной работой занимался дядя Кадя с этими гирьками. Сундук его. Оставил нам в Казани, когда приезжал. Точно. Глядя на гирьки, понимаю с волнением: есть на земле аккуратная, ответственная работа, весомая, как эти маленькие гирьки. Во всяком случае – такая работа и такие люди точно были. И мой долг теперь – придерживаться того же. Не случайно я открыл этот ларец. Обмана те гирьки не простят! Поэтому их так и «запичужили», как говорила бабушка, то есть запрятали, – чтобы не мозолили лишний раз глаза кому не надо... За честность и точность дядя Кадю, видимо, и убрали... Но гирьки достались мне. Ящичек закрывается, крючок защелкивается. Прячу «гробик». Быстро и бесшумно закрываю сундук. Теперь это – мое.

Открывается дверь, появляется бабушка.

– Ты чего такой радостный?

– Да так!

...Прошли десятилетия. И что теперь в сундуке?... Всякий хлам! И это итог моей жизни? Почему? Я ведь так старался!

...Вот я впервые в жизни веду за собой толпу сверстников, утирая горячий липкий пот, хотя прохладно и ветрено. Я понимаю в отчаянии, что погибну сейчас, зачем-то решившись – зачем?! – показать посторонним, чужим людям – свое!

Первое, что я собрался показать всем, – двух огромных, розовых, бородатых, мужиковатых атланта, подпирающих дряхлый эркер дома № 11 по нашему Саперному переулку. Они почти близнецы. Но – один стоит босой, как положено атлантам, а другой почему-то (необъяснимо, непостижимо!) в высоких, туго зашнурованных каменных ботинках! Нельзя такое пропускать! Я слышу свой прерывающийся голос, относимый ветром. Помню свои горячечные жесты – и смешки публики. То смешки холодные, издевательские? Нет – ребята хлопают по плечу: «Молодец, Попик (от фамилии Попов)! Всегда что-то такое увидит!» Но это ребята с нашего двора. Раздухарившись, привожу других, из соседнего двора, и слышу: «Муть какая-то, на фига притащились!» С тех пор так и идет моя жизнь: «Ты – король! Ты – ноль!» Всем ли выпали такие волнения? Да нет – другие вон как спокойно живут! Но мне эти волнения – навсегда.

Первый урок. Одно из самых отчаянных ощущений в жизни. Все откуда-то уже знают, как надо, уверенно общаются – лишь я растерян и одинок. С моими фантазиями упустил то, что усвоили все, и их уже не догонишь! Страшное ощущение: никто тебя здесь не любит, и ничего нельзя сделать – засмеют! Несколько моих робких попыток вступить в разговор уже встречены ухмылкой... Чем я не такой, как все?

Тусклый класс с маленькими мутными окнами (такими они казались после наших домашних, огромных). Учительница раздает по партам одинаковые серые тетрадные листки в клетку. Первое классное задание – все должны нарисовать, что хотят. И безлика, на первый взгляд, масса стриженных школьников сразу будет разделена – каждый сейчас покажет на листке, сколько места он займет в этой жизни. Поглядываю вокруг: все рисуют танки, самолеты, помногу, и это понятно. Сорок седьмой год! Недавно кончилась война. Девочек в нашей школе нет, поэтому никаких цветов. Танк, самолет – верное дело. А я почему-то робким нажимом тупого карандаша намазываю крохотную серую уточку размером в мелкую тетрадную клеточку: на большее не решаюсь. Но быть как все не хочу. А уточка – моя! Откуда она приплыла? Из какой тьмы? Но я знаю, что не случайно... Но вот – жирная тройка на листе: цена моей уточке. И мне? Навсегда?

Вот учительница, черноволосая и толстая, уже уверенно разделившая класс на «высших» и «низших» (так легче управлять), ведет обычную педагогическую экзекуцию. Брезгливо держа пальчиками мою растрепанную тетрадку, издевается, торжествует:

– А вот эту... портянку ученика Попова надо повесить на отдельный гвоздик – вытирать доску!

Все радостно гогочут, и я понимаю эту радость – чморят не их. Четко различаю два вида смеха – громогласный, уверенный смех победителей и подобострастный, заискивающий смех изгоев: «Да, мы жалкие, но не такие ведь жалкие, как Попов! Ведь не такие же, да? Так пусть ему это все достается – чем ему больше, тем меньше нам!» Я жалок, мал, унижен, смешон, пальцы мои измазаны чернилами и дрожат, но кто-то спокойный и уверенный уже живет во мне, все различает, запоминает.

И вдруг – забулькала в батареях вода: это рыбки мои приплыли из домашней батареи – мы с тобой! Чувствую подступающие слезы, но, глубоко вздохнув, удерживаю их... Стрелки на настенных часах неподвижны. Вот, наконец, выдали, выщелкнули минуту – и снова стоят. Почему так тускло светят плафоны? Почему так плохо тебе – в любом деле, которое придумал не ты? «Так надо! И уточку – не отдам!» Это мой голос... А вот чужой:

– Попов у нас спит наяву. Пять минут уже вызываю его к доске!

– Да, да! – произношу я. – Сейчас.

«Об уточке думал!» Но этого я не говорю.

– Он еще улыбается! – восклицает училка.

Мой мир торжествует! А ее рушится. Я выхожу... и вдруг – отвечаю урок уверенно. Она оскорблена. Как может этот Попов ломать устоявшееся? И причем – спокойно, словно так и надо!

В школу я брел еле-еле. Слишком много там уже скопилось того, что было непереносимо. Да еще, ко всему прочему, столь далекий путь. Уж не могли назначить школу поближе, их рядом полным-полно. Сурова жизнь и зачем-то несправедлива. На повороте с улицы Маяковского на Пестеля, как всегда здесь, ударил резкий ветер, выбивающий слезы. Вот появлялась эта школа – неприхотливое, суровое здание. Дорогу затягиваю всячески и вхожу уже, когда урок идет. «В церковь ходил, свечку ставил!» – крик хулигана Спирина, и хохот класса, подержанный усмешкой учителя. Не любят меня...

Но должна же быть какая-то помощь в этом мире? Справа поднималась огромная белая гора Спасо-Преображенского собора, и однажды, в полном уже отчаянии, я поднял свой взгляд на собор. На круглом циферблате под куполом стрелки показывали без пяти девять. Я не опоздал! Мне подарено пять минут! И всегда тебе будет помощь – если ты будешь достоин ее. Тебя видят и любят. Но если ты обнаглеешь – подари-ка, мастер, десять минут, потом пятнадцать, – эта помощь рассеется, словно и нету ее. Но я ее чувствую. И не отпущу. И так вхожу в школу.

Морозный солнечный день. Отец, появившийся наконец из своих командировок, встречает меня в школьной раздевалке. Я сбегаю по лестнице, мы обнимаемся – и я сразу же раскрываю тетрадку. В тетрадке моей: «ЛЫЖИ ЛЫЖИ ЛЫЖИ» – и красная пятерка чернилами. Перо чуть зацепилось за щепку бумаги в листе и брызнуло – брызги эти помню как сейчас.

– Молодец! – высокий, крепкий отец рядом, рука его на моем плече полна силы. – На лыжах пятерку догнал!

Умеет он метко сказать! Мы смеемся. Выходим. Идем вдоль ограды храма.

– Видал – стволы трофейных пушек! – отец показывает на сизые от мороза чугунные столбы, соединенные свисающими цепями. – Захвачены преображенцами, а это их церковь полковая.

– Захвачены? В эту войну? – морща лоб, изображая понимание, произношу я.

– Ха-ха-ха! – отец хохочет. Я обижаюсь. – Эх, товарищ Микитин, и ты, видно, горя немало видал! – произносит отец свою любимую ласковую присказку, шутливо сдвигая мою шапку на брови и ероша мои волосы на затылке. Я чувствую горячие слезы на щеках, они быстро замерзают, скукоживают лицо. – Преображенский полк еще Петр Первый собрал! А пушки эти турецкие захвачены в войну 1828 года. Целых сто два ствола! Не трогай!

Но восклицание запаздывает: я, сняв варежку, глажу тремя пальцами сизый ствол – и кожа прилипает, примораживается – не оторвать. Отец нагибается и горячо, с клубами белого пара, дышит на прилипшие пальцы. Потом дергает мою руку. Содралось! Медленно проступает кровь.

– ...Ничего! – быстро придумывает веселый отец. – Это как будто вместе с преображенцами сражался, пострадал от турецких пушек, кровь пролил! Ты преображенец теперь!

Смеюсь, сквозь слезы смотрю: деревья розовые, пушистые. Сейчас таких морозов почему-то уже нет.

Пятый класс. В ранних зимних сумерках я стою на школьном крыльце. Самые отпетые из моих одноклассников, гогоча, уходят за угол. Сейчас их еще больше соединит отважный ритуал курения – только самые отчаянные и авторитетные там. Пора! Таких бросков через бездну я совершил несколько и ими горжусь.

На ватных ногах я пошел за угол. «Подельники», увидев меня, застыли с не зажженными еще папиросами в озябших пальцах. Появление директора Кириллыча, я думаю, меньше ошеломило бы их... Первым, как и положено, среагировал наш классный вождь, второгодник Макаров. Это было его привилегией и обязанностью – первым давать оценку всему.

– Гляди-ка, наш умный мальчик закурить решил! Папиросу дать?

– Мои кончились, – выдавил я.

Все хохотнули. Но под свирепым взглядом вождя умолкли... Чего ржете? Представление еще впереди...

– Держи! – Макаров тряхнул пачку, и высунулась как раз одна папироса. Шик!

Как бы умело и привычно, склонив голову, я прикуривал от язычка пламени, протянутого Макаровым в грязной горсти. Руки его просвечивали алым. Папироса сначала слегка обуглилась, потом загорелась. Я с облегчением выпрямился. Вдохнул, сдержав надсадный кашель, выдохнул дым. Скорей бы они про меня забыли, занялись бы собой – для первого раза хватит с меня! Но они явно ждали чего-то именно от меня: уж такова моя роль, понял я. Необычная для этого сборища тишина. Дул порывами ветер, летели искры. Все напряженно ждали чего-то... и я не подвел. Все сильнее пахло паленым. Сперва все переглядывались – потом радостно уставились на меня.

– А мальчик наш, кажется, горит! – торжествуя, воскликнул вождь.

И наступило всеобщее счастье! Которого не разделял почему-то только я, всем это счастье подаривший. Некоторое время я еще стоял неподвижно, натянуто улыбаясь. Но тут из ватного рукава (пальто было сшито моей любимой бабушкой) повалил дым, выглянул язычок пламени. Вот теперь уже можно было им ликовать! Праздник состоялся! Под общий хохот я повернулся и побежал, запоминая зачем-то этот сумрачный двор, горящий рукав... который я наконец-то спустя время догадался сунуть в сугроб. И всегда мой рукав будет гореть на потеху людям – чувствую я и понимаю, что это судьба.

С этим факелом-рукавом я и вбежал в литературу. И книгу своих воспоминаний назвал «Горящий рукав».

Помню, что еще в школе я начал выбирать путь. Даже на прогулке мог долго стоять на углу, чтобы понять, куда мне хочется на самом деле: пойдешь не туда, и потом вся жизнь будет не твоя. Помню как сейчас солнечный угол, на котором стоял, и – ловил жизнь.

Выбираю людей. Помню Перовых. Жили они в самом низу нашей лестницы, в подвале, единственное окно смотрит на асфальт, а выходят всегда бодрые, аккуратны одетые. Красивая речь. Женщина попросила у бабушки спички (для керосинки, у них газа еще нет), поблагодарила и на следующий день вернула коробок. Притом работает дворничихой, шаркает метлой. Спрашиваю у бабушки, которая всех знает: «Кто они?» С ней живет еще сын...

– Перовы? Коренные ленинградцы, – сказала бабушка. – В блокаду лишились квартиры. Анне Сергеевне пришлось устроиться дворником ради жилья.

То-то они так заинтересовали меня! Мы-то приехали в сорок шестом. До войны папа окончил тут аспирантуру, его послали в Казань и после войны вызвали сюда, в Институт растениеводства. Значит – я тоже теперь ленинградец? Не совсем.

Солнечное утро. Пьем чай. Стол накрыт торжественно – 1 мая! Неужели снова не позвут? Всю зиму я наблюдал через это окошко, как ребята моего двора, посмеиваясь (надо мной?), с коньками под мышкой идут на каток. И сегодня не позвут? Но ведь – праздник же! И вдруг рябой светлый зайчик со скоростью, недоступной материальным предметам, проскальзывает через комнату, дрожит на потолке. Пробормотав «спасибо», кидаюсь к двери. Пятьдесят... какой год?

На солнечной стороне улицы стоят, шурясь, ребята и, возвышаясь над ними, Юра Перов с зеркальцем. Сын дворничихи. Но – какая это дворничиха! И какой – Юра! Золотой медалист, теперь уже – студент Политеха! И вот, по случаю праздника, вспомнил про «младших братьев» по двору, и про меня, самого младшего! Только ради этого дня он взял в руку такой несерьезный предмет, как зеркальце, и, улыбаясь чуть снисходительно, посылает радостные сигналы в окна друзей. Теперь и я тоже – друг! Мы теснимся вокруг Юры, заглядывая снизу. Быстро идем. Скоро выйдем на людные улицы, где первомайская толчея, крики, шум, и никто уже меня не услышит. Надо именно сейчас что-то сказать, успеть как-то отличиться, привлечь внимание Юры к себе, поблагодарить, что позвал, и чем-то обрадовать. Мысли и чувства бушуют. И это правильно. Не может же такой день кончиться ничем! Взгляд мой останавливается на застекленном щите объявлений, на стене дома.

– Смотрите! – кричу я. – Проводятся... озорные экскурсии!

Останавливаемся у щита. Оценят ли? Там, конечно, написано: «Обзорные экскурсии».

– Да... Занятно. Хотелось бы сходить, – улыбается Юра.

Ура! Я счастлив! Другие тоже стараются блеснуть. «О! День открытых зверей!» Вместо «Дня открытых дверей». «Покража дров!» Написано – «продажа». Юра, продолжая улыбаться, качает головой: «Не-ет! Как Валера – не может никто».

Летим дальше. Это – мой день! Выход на Невский перекрыт стоящими в ряд грузовиками.

– В Летний сад! – мгновенно командует Юра, и мы мчимся за ним по ленинградским солнечным улицам. Есть ли такой праздник сейчас, такой же радостный? Прекрасный Ленинград открывается перед нами. В бегущей толпе перелетает слух – в Летний еще пускают... но скоро перекроют! Успели – со стороны Инженерного замка ворота открыты. Оказываемся в тени огромных деревьев. Не бежим, чтобы не привлекать внимания милиционеров... а просто – прогуливаемся в Летнем саду. Какая-то стая, спихнув нас с дорожки, несется вперед. Во главе ее – коренастый в шляпе.

– Шляпа в шляпе вырвалась вперед! – насмешливо и достаточно громко произносит Юра. Пренебрежения, а тем более – унижения он прощать не может. Мы же смотрим на него! «Шляпа» тормозит. Ее хозяин удивлен. Не ослышался ли? Он медленно возвращается. Юра стоит. Тот разглядывает его.

– Это ты... про шляпу сказал? – зловеще цедит он.

Можно еще отречься, слукавить.

– Да! – отвечает Юра. Потом спокойно добавляет: – Извини.

Люди, подбегая к решетке, залезают на гранитные тумбы – опоры... скоро там не будет мест.

– То-то! – крепко в шляпе сплевывает и мчится к решетке.

– Ну что стоите, как засватанные? – усмехается Юра. – Вперед!

И мы успеваем влезть – правда, по несколько человек на тумбу. Восторг! Тяжелая гусеничная техника грохочет по брусчатке вдоль Невы... Всё! Конеч!

– Ничего нового не показали, – уважительно, как понимающему, говорит «шляпа» Юре, и тот, помедлив, кивает.

Слезаем с гранитной тумбы, идем. Хорошо, что у нас такой лидер, а не какой-нибудь прилпатный, как у других. Гордые, мы садимся на скамью у пруда, в котором плавают лебеди. Мы – ленинградцы!

– В пионеры вас будут принимать в Музее Кирова, – объявила нам Марья Сергеевна, наша классная воспитательница. – Это большая честь для вас! Вы должны принести с собой галстуки. И быть в аккуратных белых рубашках. Я это уже вам говорила. Сейчас вы положите галстуки на парту, и я посмотрю их. Они обязательно должны быть куплены в магазине. Никакого самостоятельного пошива. Я предупредила. Кладите галстуки на угол парты, в сложенном виде. Я иду.

Уши моего соседа по парте Николаева густо краснеют. И я знаю, в чем дело – у него, наверное, ситцевый галстук. Весь наш класс разделился на «ситцевых» и «шелковых». Шелковый галстук – яркий, как пламя, красиво топорщится, а ситцевый – темный и свисает, как тряпка. Дешевый.

– А я вообще эту портянку не буду носить! – гоношился перед уроками хулиган Спирин.

Так его и не собираются принимать! А «ситцевые» в основном помалкивали. Стыдились? А мне, например, было стыдно оттого, что я рядом с Николаевым и у меня – шелковый. А вдруг и у него шелковый? Пустая надежда. Я был у него дома и видел, как они живут.

Марья Сергеевна приближается. Я вынимаю из портфеля аккуратно сложенный шелковый галстук. И делаюсь такого же цвета, как он. Галстук сразу же расправляется, как живой, расширяется, как пламя. Ни складочки! И я чувствую, что он даже согревает снизу мое лицо.

– Что это? – скрипучий голос Марьи Сергеевны.

Это не мне! Она идет по проходу со стороны Николаева. А я ничего и не вижу. Отвернулся вообще!

– Что это? – повторяет она.

– Мать сшила, – сипло говорит Николаев.

– Посмотрите – что это? – она повышает голос и, видимо, поднимает галстук Николаева на всеобщее посмешище. Я не знаю, я не смотрю.

– Что это, я спрашиваю вас! – голос ее насмешлив.

Видимо, приглашает повеселиться и толпу – и толпа радостно откликается.

– Носовой платок!

– Носок!

Класс гогочет, шумит. Почему не подухариться всласть – если училка этого хочет?

Николаев хватает галстук и школьную сумку, тоже сшитую матерью, и выбегает из класса.

Неуютно в этом дворце. Шикарно, но холодно. Неужели Киров тут жил? Большой зал, но почему-то стеклянные стены. Тропические пальмы явно зябнут. И меня знобит. Родители мои не бедные, я считаю, – но бабушка нашла мне белую рубашку только с короткими рукавами. Летнюю! Уж не могли нормальную купить!.. Но на самом деле я страдаю из-за того, что нет Николаева. Неправильно это!

Нас строят. Потом, улыбаясь, входят старые большевики – и каждому из нас достается свой. Мне повязывает галстук довольно моложавая тетя. Когда это она успела поучаствовать в революции? Потом мы поднимаем руки в пионерском салюте и произносим клятву. И от этой торжественности знобит еще сильнее.

– Киров здесь никогда не жил, – красивая седая женщина начинает экскурсию. – Это бывший дом балерины Кшесинской. Но здесь после революции располагались различные советские учреждения, и Киров бывал в них по служебным делам. Поэтому в этом здании решено было открыть его музей, и в 1938 году он открылся. Я – заведующая фондом рукописей Фаина Васильевна. Если будут вопросы – не стесняйтесь, спрашивайте.

Вопросов никто не задает, но шумят здорово. Раз уже приняли – можно и погалдеть. Я пытаюсь слушать, хоть что-то запоминать. Всего-то три зала. Первый – детство, старые фотографии. Второй – его деятельность. Группы людей. Высокие горы. Пароходы. Военные, строим. Слов заведующей в гвалте не разобрать, а она специально не повышает голоса. А вот – улыбающийся Киров в окружении радостных пионеров. Обиженных среди них нет. Киров такого бы не допустил.

Третий зал посвящен убийству Кирова. За что? Он сделал столько добра. Таких особенно жалко. Откуда-то течет тихая музыка. Тут народ умолкает. На фото – Киров в гробу. А вот длинная очередь трудящихся – проститься с ним.

Фаина Васильевна указывает на отдельно висящий портрет.

– Это Николаев, убийца Кирова.

И наших вдруг охватывает дикая радость!

– Теперь понятно, почему Николаева не приняли! Вот гад!

Общий хохот.

– Наш-то Николаев при чем?! – говорю я.

И все переключаются на меня.

– Понятно, почему они на одной парте сидят!

– Ти-ха! – оказывается, и она может рывкнуть.

Все умолкают.

– Экскурсия закончена.

Честно говоря, я расстроился. Ну почему так? Вдобавок ко всему, в рукаве пальто нет моей шапки. Выпала? Но где же она? Все радостно удалились, а я стою. Переживаю все сразу. И вдруг появляется Фаина Васильевна.

– Что-то потерял?

– ... Не могу шапку найти, – признаюсь я.

– Это не она? – показывает на торчащую из-за батареи лямку.

– О! Она, – вытаскиваю шапку. Вся в мелу. Специально засунули. Торопливо пытаюсь оттереть мел.

– ... Не хочешь чаю со мной попить?

– Давайте!

– Ты, я вижу, парень с душой. Переживаешь! Таким нелегко.

– Почему? Мне легко!

Теперь-то, конечно, да. В комнатке Фаины Васильевны тепло, не то что в залах! Горячий чай! У нас дома почему-то чай всегда чуть теплый, за столом все как-то торопятся. А тут хорошо. Кругом папки, на полках и столах, и от этого почему-то уютно.

– Вот – обрабатываем материалы, воспоминания современников Кирова. Готовим для выдачи. Люди пишут диссертации. Даже книги. Но приходится немножко... исправлять.

– Ошибки?

– Да... И не только грамматические. Люди самое лучшее должны знать! – она улыбается. – Хочешь к нам ходить?

– Да!

– У нас есть «Клуб юных историков». Правда – не таких юных, как ты. Но изучение истории, – она кивает на папки, – развивает не только ум, но и душу. Юность Кирова мы уже обработали! – показывает гору папок. – Но – читать можно только здесь.

– Да это... самое лучшее место! – говорю я.

Здесь действительно уютно. «Хозяин» этого дома, Киров, нравится мне – бодростью, уверенностью, успешностью. Я бы так тоже хотел... В «Клубе юных историков» я сначала сидел в углу и слушал, но потом мне уже хотелось говорить, эмоции бушевали!

И первый мой «доклад», который я представил «на суд», назывался: «Революционер от нежного сердца».

Про таких детей, как Сережа Костриков, будущий Киров, говорят – «боженька поцеловал». Умный, веселый, добрый, старательный. Такие рождаются на радость всем. Семья Костриковых была бедной. Отец Сергея, Мирон, в жизни нисколько не преуспел. Жена – скромная, работающая, добрая. Приходя пьяный, он привязывал ее за косу к скамейке и бил. Девочек выгонял и в дождь, и в мороз. Но Сергея почему-то любил, лез целоваться, обнимал и даже плакал. Сергей в ужасе прятался от его «ласк». Почему у такого замечательного сына – такой отец? Сергей, запомнив «уроки отца», никогда в жизни не прикасался к вину.

1891 год оказался неурожайным, голодным. Многие уходили на заработки, на Урал и в Сибирь, в основном плотниками, бросая свое хозяйство. Мирон, тоже «уплывший» на этой волне, надолго исчез. Жена его, Екатерина Кузьминична, мать троих детей, осталась без каких-либо средств к существованию. Она шила, обстирывала сразу несколько семей, полоскала чье-то белье в проруби, простудилась и умерла.

В городе существовал на деньги благотворителей-купцов детский приют. Но попасть туда значило перейти в «низшую касту». Приютских, наголо стриженных, и одетых в одинаковую серую форму, городские пацаны презирали и кидали в них камни.

И Сережу приняли в приют. Но Сережа не хотел туда и плакал всю ночь. Сестры успокаивали его, а он умолял их, чтобы утром они уговорили суровую бабушку Меланью Авдеевну не отдавать его в приют: он лучше будет работать и приносить деньги, а жить будет дома! Но бабушка не разрешила – и Сережа заплакал еще отчаяннее: почему именно он оказался в доме лишним? Ведь он так старался. Все делал, что мог! Тогда, видимо, и поселилась в его душе

обида на жизнь: почему кому-то хуже, чем всем? В приют его повели на следующий день. Он теперь не плакал, молчал. Наверно, в нем жил уже «маленький революционер», жаждущий справедливости.

Что-то уже предвещало в нем необыкновенную судьбу. Однажды, когда он работал в приютской мастерской на втором этаже, он вдруг закричал:

– Что же они делают? Он же упал, расшибся, и его же бьют!

Окна второго этажа были выше забора, и был виден воинский плац, и Сережа увидел, как молодого солдата, сорвавшегося с гимнастического турника, ударил фельдфебель, – и Сережа закричал. Чудесный был мальчик!

Блестяще закончив городское училище, Сергей, с подачи учителя математики Морозова, высоко оценившего его способности, был направлен при поддержке попечителей в Казанское низшее техническое училище (полное название – Низшее механико-техническое промышленное училище). При этом председатель попечительского совета Польшнер письменно обещал купцам, платившим за обучение в Казани, обеспечить проживание Сергея в пристойных условиях – у сестры Польшнера, госпожи Сундстрем. И все это делалось ради какого-то мальчика, который не был Польшнеру даже дальним родственником! Так что назвать жизнь в России жестокой и безнадежной нельзя. Почему же он стал революционером? Чтобы не было обиженных, чтобы заступаться за них! И когда пришло извещение, что документы его об окончании городского училища приняты в Казанское низшее техническое училище и он поедет в огромный город Казань, он был счастлив! Все лето он занимался, готовился к экзаменам – и вот момент настал. Воспитательница приюта Юлия Константиновна, при зарплате в десять рублей, купила материи и сшила ему брюки, пиджак на вате и тужурку. С котомочкой за плечами и восемью рублями в кармане он сел на пароход и поплыл в Казань. Революционер с нежным сердцем!

– И ты, видно, такой же! – сказала Фаина Васильевна в конце моего доклада. – Ну-ну.

Сережа вел дневник, выписывал интересные мысли. Там была и такая: «Кто не был в юности революционером – у того нет души». Когда я сказал это отцу, он вдруг захохотал, хлопнул меня по плечу: «А есть еще продолжение этой цитаты: „Но кто не стал к старости сенатором – у того нет ума!“»

Но ум у меня, кажется, был. Бабушка, смеясь, рассказывала, как с самого раннего детства я уже «соображал», как надо выйти во двор. У меня, как только я научился ходить, были алые шаровары, и я требовал для «выхода» именно их. Они были сшиты из скатерти, как сказала бабушка. Из какой, не говорила. «Не иначе как со стола какого-нибудь президиума!» – понял позже. Тщеславные были штаны! Надев их, я не спеша проходил через двор, волоча за собой маленький стульчик, и усаживался на краю оврага, закинув ногу на ногу, и, попивая сладкую воду из бутылочки с соской, благожелательно озирал окрестности, овраги и плоскогорья. И алый их цвет, я чувствую, еще горит на моих щеках. Вот так, петелька за петелькой, и вяжется жизнь.

Как можно вообще чем-то пренебрегать? Например, цветом? Это один из самых важных сигналов! Уже в Ленинграде, в соседнем доме № 5, оказался загадочный маленький заводик, страшно возбуждающий не только меня, но и всех нас. Мы узнали о нем по цветному дыму, выходящему из тонкой высокой трубы. Такой букет в нашей суровой реальности. Соседняя арка! Пользуясь отсутствием одной загогулины в чугунных воротах, мы пролезали внутрь. Теперь нам туда уже не пролезть. Да и много куда уже не попасть. А тогда, почему-то пригнувшись, мы влетали в одноэтажный полутемный флигель, где были свалены обрезки ткани – очень мягкой, чуть мохнатой (технической?), но главное – необычные цвета!

Жадно пихаем лоскуты под рубаху.

– Атас! – у кого-то первого не выдерживают нервы, и мы бежим. И последним в щель почему-то всегда вылезает я. Пропускаю других? А я как же?.. Горестная зарубка на всю жизнь.

В своем дворе стремительно расходимся, закрываемся дома и только тут с колотящимся сердцем озираем добычу. Это – куски мягкой технической байки, порезанной на полоски, но главное, что пьянит, они – совершенно невероятных, недопустимых в наше время расцветок – и это страшно волнует! Нежно-лимонный (никогда не видел такого), слегка даже постыдный розовый, недопустимого оттенка бледно-зеленый. Не может быть такого в нашей стране! И вот – мы собираемся в таких «шарфиках» выйти! Страх – и неодолимое желание сделать это. Вытаскиваю их с нижней полки шкафа. Чувствую, что это не только против порядка, но и разума: голова идет кругом! Спускаюсь. Молча объединяемся во дворе, но идем по темным улицам как бы каждый сам по себе. «Стяги» наши еще за пазухой, не на шее – на шею рано! По этим улицам так не ходят. Но – Невский! На Невском можно, чего нигде больше нельзя, – и хотя здесь легче всего и получить наказание за свою дерзость, «на миру и смерть красна»! Сколько диких фигур отразилось тогда в тусклых зеркалах на углу Невского и Литейного – фигур страусиной походки и павлиньей окраски. Откуда бралось? Тоже со свалок. А вот и мы! В ближайшей к Невскому подворотне наматываем на шеи свои стяги-кашне, выходим на Невский, идем дерзко, неуверенно, развязной, но робкой стаей. Косимся на встречающих... Никто даже не смотрит на нас! Отчаяние!

Помню, как я уже один (видно, азарт оказался сильнее, чем у других) иду через Аничков мост. Ветер вышибает слезы... Но зато – я запомнил этот миг навсегда. Потом, через много лет, я прочел стихотворение Бунина, то же самое состояние, то же место:

И на мосту, с дыбящего коня
И с бронзового юноши нагого,
Повисшего у диких конских ног,
Дымились клочья праха снегового...
Я молод был, безвестен, одинок...¹

Бунин, будущий нобелевский лауреат, уже видящий и чувствующий все так остро, уже знающий о своей исключительности, никем не оцененной, был вот здесь так безвестен и одинок. Как ты!

В ранних (послевоенных) классах сначала все были одеты кто во что, и вдруг откуда-то пришла первая мода – вельветки. Откуда? Почему? Никаких рулонов вельвета в магазинах не наблюдалось. Но понятие утвердилось. «Бабушка, шей мне вельветку!» – звучало тогда во многих коммуналках. «А что это?» Ну, как объяснить?!.. Вельвет вовсе не обязателен. Главное – это должна быть куртка на молнии, чтобы можно было, играя, приспускать молнию, потом снова подтягивать – и снова, когда захочется, приспускать... Свобода! И еще пожелание – не тот черный тяжелый материал, из которого тогда шили все... Легкость – вот что манило. Нечто подобное и нашла моя бабушка на рынке. Смотрю фотографию третьего класса – все в курточках на молнии! Мода была всегда!

Государство наводило порядок: в старших классах ввели обязательную серо-голубую форму. И жизнь разделила нас на шерстяных и фланелевых. Шерстяная форма сохраняла свои очертания долго, фланелевая быстро превращалась в мятую тряпку, увы! Я сочувствовал фланелевым, но... Помню момент в классе за партой: шерсть натерла нежную шею сзади, но я этим наслаждаюсь, горжусь и даже как-то усугубляю то ощущение, провожу шей по колючему

¹ Бунин И. «На Невском». (Здесь и далее примеч. ред.).

воротнику снова и снова, смакуя свою принадлежность к «шерстяной элите», диктующую еще и успешную учебу (уж нам ли не справиться с учебой, когда мы так отлично одеты!).

Помню, как мы ехали нашей компанией по Невскому на троллейбусе и говорили о польском кино. И сидевшая напротив благообразная старушка вдруг воскликнула, всплеснув руками:

– Откуда вы, ребята? Я просто люблюсь вами! Настоящие гимназисты, как раньше!

– Спасибо! Вы тоже замечательны! – сказал я.

Жить, не пытаясь улучшить мир, – жить зря. Такие мысли – и пропадают! Мы толпились в школьном дворе после торжественной линейки по случаю окончания учебного года, освободившись непривычно рано. Мысль можно и реализовать! И я подошел к группе самых отпетых одноклассников, которые уже что-то соображали в углу двора.

– А пойдем в Летний сад! – предложил я.

Они офонарели. Уставились на меня. Увидели, наконец! Закончился девятый класс, а дальше – меня переводят в другую школу... Но уйти так, чтобы потом никто и не вспомнил, я не хотел.

– Там лебеди на пруду! – вдруг сказал я, вовсе не будучи в этом уверен.

– Отвечаешь?

– Да!

– Ну, пошли!

Мне кажется, я их отвлек от чего-то важного и идут они только за тем, чтобы потом мне накидать, но уже на законных основаниях. Вот и отпразднуют окончание учебного года!

От Моховой до Летнего сада путь недолог. Но – мучителен. Не я создал этот мир! Почему же я отвечаю за него? Ответишь! А кто же еще? Дураков больше нет.

Конечно, никаких лебедей на пруду не оказалось.

– И где?!

Мне хана. А также и жизни, которую я им обещал. «Так сделай ее! Или хоть – попытайся!» Я нащупал в кармане бутерброд, выданный мне на весь день. Бутерброд плюхнулся посередине пруда – и из крохотного домика на берегу, где и уточке, казалось, не поместиться, выпорхнули вдруг два чуда, два лебедя, и поплыли, отражаясь. Я сглотнул слюну. Прощай, бутерброд. Но я сделал что мог! Миг торжества! И – всё? Конечно, они хлопали меня по плечам, по правому и по левому (ребята они неплохие), но ведь эполеты Преображенского полка от этого на плечах не выросли.

Ну что, чудесник, любимец богов? Доволен? И так теперь – каждый день? Бутербродов не напасешься! Волнение почему-то нарастало.

Я свернул к себе на Саперный и вошел в другой мир. Стало вдруг очень жарко, возник нежный туман, и все стало необычным. Звуки доходили глухо, словно издалека. Я попал в какое-то волшебное царство! Жара нарастала, жгло мочки ушей. На лестнице показалось холодно, меня колотило. Что это? Где я? Горький вкус во рту. В прихожей стояла женщина, похожая на маму. Она положила мне на лоб ледяную руку.

– Э-э-э! Да у тебя температура! – глухо, словно сквозь воду, донеслось.

«Может, из-за температуры я так и начудил?» – подумал я.

2

– Да не так это делается!

От такой фразы я очнулся. Я ничего еще не делал – и уже что-то «не так»! Усмехаться, оказывается, больно. Губы, видимо, воспалены и потрескались и, кажется, кровоточат. Больница! Отсюда и голоса. Неприятные. Осторожно открыл глаза. Унылое однообразие, ряды стриженных голов. Владелец ближней головы в каких-то шрамах и струпьях, видимо, и есть тот, кто знает, *как* это делается, причем – всё! Мудрейший! Голован!

– Дай! – он взял у соседа банку сгущенки, которую тот пытался расковырять тупым ножом, и поставил себе на тумбочку. – ...Жди! – он нагло захохотал. – К нам на Шкапина придешь – голым уйдешь!

«Какой же идиот к тебе на Шкапина пойдет?» – еще подумал.

Но оказалось – я. Зачем? Об этом и речь! Шестнадцать лет – и надо куда-то двигаться.

В палате был странный обычай. Часть ужина – два ломтя хлеба и два кубика масла – все приносили сюда и, сделав бутерброды, пировали здесь. Я бы сказал, «бездуховно общались». Я, увы, не принимал в этой «масленице» участия. Мама не положила в котомку нож, и я, отвернувшись к стене, глотал хлеб отдельно, а масло отдельно. Оно казалось соленым. Слезы? Давно я не плакал. Сильно ослаб. Долго не поворачивался: пусть слезы высохнут. И так продолжалось неделю! Но однажды (силы, видимо, появились) я, повернувшись к публике, положил два куска масла на ломоть хлеба, придавил другим и нацелил это двухэтажное сооружение в рот. И был наконец-то замечен.

– Гляньте! В двойном размере жрет! Во буржуй!

– Эй! «В двойном размере»! Куда пошел! Дай укусить!

– Стой, двухэтажный! Не уйдешь! – мне перегородили дорогу.

Вот он, миг славы, а точнее – позора!

– Ша! – рывкнул голован, и все застыли. – Геть отсюда!

Сатрапы, отталкивая друг друга в дверях, исчезли. Пришло, значит, и мое время. Что покажет?

– Наблюдаю тебя, – заговорил он (худой парень лет шестнадцати). – Удавишься, но не попросишь! На!

Он протянул мне символ власти – финку с наборной ручкой из плексигласа разных цветов. «На зоне делают!» – слышал уже его хвастовство.

– Спасибо. Я люблю так! – теперь я уже принципиально пытался запихнуть свое двухэтажное сооружение в горло.

Не воспользовался возможностями. Зато воспользовался он.

– В центре живешь?

– Да, – отложив в сторону свой суперброд (говорить с набитым ртом невежливо), сказал я.

Ну, не совсем в центре, но это неважно. Не будем нарушать ход его мысли. Мыслит – стало быть, существует!

– И все там культурные, вроде тебя?

– Да.

Ну, далеко не все... но возражать снова не стал.

– Проблем больше у тебя не будет! – царственно произнес он.

– Спасибо, – откликнулся я.

«На время болезни? Или – навсегда?» – этот иронический вопрос я, конечно, не озвучил.

– Заметано? Фека! Феоктист! – он протянул мне костлявую руку, и я ее пожал. – Между нами, пацанами, – доверительно произнес он.

– Валерий, – сказал я. – Со своей стороны... что смогу! – я растрогался.

– ...Какие погоны к нам зашли! – вдруг восхищенно воскликнул он.

Чтобы все услышали? И они услышали.

Я действительно кудесник! Возле двери стояла мама, озираясь, и с ней – какой-то уютно-кругленький, сияющий улыбкой и лысиной военный, сияющий еще и погонами.

– Так вот же Валерка! – воскликнул он, и они с мамой кинулись ко мне.

– Помнишь меня? – сиятельный гость тряс мне руку. – Вася Чупахин.

– А, вспомнил: вы в командировку к нам приезжали!

– Ну вот, а теперь уезжаю. Хочу забрать отсюда тебя.

– Мы вместе, нет? – Фека трагично посмотрел на меня.

Чупахин перевел взгляд на Феку.

– Шашерин Феоктист! – солидно отрекомендовался он.

– Мой друг! – произнес я.

Честность тогда зашкаливала. Он мне помог, вернее – собирался. Уже хорошо! Нельзя такое отбрасывать.

– Друга – берем? – спросил Вася.

Я, помедлив, кивнул. Мерить в граммах, кто кому больше сделал добра?

– Да.

– Тогда пошли.

И высокий гость маленького роста зашел в высокую стеклянную дверь, к главному врачу, и оттуда слышались то веселый разговор, то хохот. Так он, видимо, всех и покорял.

– Приезжайте к нам – примем лучшим образом! – доносилось до нас.

Хозяин кабинета проговорил что-то тихо, и Чупахин захохотал.

– Ты узнаешь его? – с гордостью произнесла мама. – Васька Чупахин – мой старый друг.

Он сейчас главный врач крупного военного санатория в Сочи. Он хочет тебя... – но, глянув на моего друга, она осеклась, заговорила о другом: – Инфекционный период уже прошел. Но тебе собираются рвать гланды. А гланды, как недавно открыли, рвать нельзя. Гланды – фильтр, на них микробы оседают. А тут – по старинке!

– Кровью захлебываемся! – с блатным надрывом произнес Фека.

– Ну... не преувеличивай! – засмеялась мама.

– Ну вот, орлы, все в порядке! Уходим! – появился Чупахин. – И тебя выписали! – сказал Феке.

– Куда? – дерзко произнес Фека.

– На кудыкину гору! – засмеялась мама. – А тебя, – повернулась ко мне, – Вася хочет забрать...

Остановилась.

– Домой иди! – скомандовала Феке мама.

– Не... – развалился он на скамье. – Я друга подожду!

Мертвой хваткой вцепился. Чупахин, весело прищурясь, смотрел на него.

– Ты тоже, что ли, хочешь с нами поехать?

– Не пожалеешь! – изрек Фека, уже панибратски.

– Ну тогда... – продолжал размышлять Чупахин. – Если на билеты до Сочи наберешь...

– Решаемо! – произнес Фека.

Как он «решит», я догадывался. Да и мама с Чупахиним раскусили его... Так что же происходит?

– Тогда давай! Жалко, что ты, Алевтина, с нами не едешь! – обратился Василий к маме.

– Так ты и не зовешь! – произнесла мама кокетливо.

И долго еще была весела и оживлена, как бы вернувшись в молодость.

– Ты решил, я не поняла, кто твой друг? Но ты думаешь, я их боюсь? Да у нас в Казани вся улица блатная была. Молодежь этим даже щеголяла. А я уже была вожаком комсомольской ячейки и помогала им как могла. Комсомольцы тогда смелые были, сразу на помощь бросались, не боялись ничего!

Глянула на меня со вздохом: мол, ты не такой, неизвестно какой... Сделал что мог!

– Васька Чупахин, кстати, тоже из них! – нежно улыбнулась она. – Так что – продолжай, сын, благородное дело!

– Есть!

Проблем не будет! Точнее – начинаются.

Если бы сейчас спросили, где я хочу жить, я бы ответил: там. И – тогда. Тенистое место (что так ценно на Юге!) возле административного корпуса военного санатория в Сочи. Просторная прохладная комната во флигеле на втором этаже, тоже темноватая из-за нависших ветвей. Утром я просыпался, видя прямо перед собой за окном цветок олеандра среди блестящих и крепких темно-зеленых листьев, похожий на разрезанное на четыре части крутое яйцо – дольки желтка, окруженные «лепестками» белка. Но если разрезанное крутое яйцо бьет сероводородом, то тут запах был сладчайший, я бы сказал – томный. Позавтракав внизу, в кухне, я выбегал на площадку перед домом. Фека и Лёня-курсант, племянник Чупахина, играли в шахматы огромными фигурами. В каждом советском санатории тогда почему-то были шахматы-гиганты. И, бодро крикнув что-нибудь вроде: «Ходи конем!» – я убежал по «темным аллеям». И только возле больных на костылях вежливо притормаживал.

Штормило всегда! Огромные прозрачные горы сжирали длинный бетонный мол, потом, разлившись по берегу, отступали, с грохотом катя с собой гальку. Пауза... и опять – оглушающий грохот! Какие-то акробаты прыгали с мола прямо в надвигающуюся волну, потом их выбрасывало, кувыряка, и они, хохоча и вытирая одной рукой лицо, а другой упираясь в склон, съезжали с грохочущей галькой в море. И это было не слабо – пока я не нашел свое.

За мысом было райское местечко! Ветер туда не доставал, и волны – тоже. Буйство тут было задавлено бетонными глыбами, белыми, но с ржавыми крюками, цепляя за которые их и кидали сюда... И теперь тут была сладкая тишь. Ароматы цветов долетали с крутого берега. Между глыбами были лишь небольшие пространства ярко-синей, прозрачной, тихой воды. Вот где можно было ею насладиться, медленно плавая, видя красивое дно с подвижной солнечной сетью на нем. И, главное, на одной из нагретых солнцем, наклонно уходящей в прозрачную воду глыб сидела она – загорелая, длинноногая, стройная, с волной волос, сбегаящих по спине, и голубыми глазами, скромно опущенными. Иногда она падала и плыла – в метре от меня! Ноги божественно преломлялись в воде... А я тут плюхнусь, как бегемот! Нет... Хотя, казалось, не было ничего естественнее. Жизнь бы могла иначе пойти! Я уже мысленно прожил нашу сладкую жизнь, на солнечной террасе...

«Ход конем» сделал Чупахин. Однажды, когда я выбежал с кухни, он оказался рядом, словно ждал. И покатился, как колобок, рядом. «Купаться?» – «Да!» – «А эти, гляди, не идут!» – усмехнулся он. Движения их уже были замедленными. Его племянник Лёнька стоял, держась за корону белого шахматного короля, направив на нас счастливый, но неподвижный взгляд.

– Разрешите доложить! Всё путем! – язык у Феки заплетался, но – плел.

Чупахин вдруг схватил высокую королеву за горло и поднял. Фигуры оказались полыми и без дна – иначе бы их было и не поднять. Но королева была не совсем полая. Под ней стояла наполовину пустая бутылка портвейна. Чупахин весело глянул на Феку и поставил королеву обратно.

– Ну что, старый фармазонщик? – усмехнулся он. – Все в «куклы» играешь? Боишься квалификацию потерять? Вы бы хоть на пляски сходили!

И укатился. Я, честно говоря, остолбенел. Куклы? Лихорадочно соображал. «Кукла» – воровской термин: когда снаружи одно, а внутри – другое. Королева – «кукла»!

Фека вцепился в меня.

– Сдал, да?

Надо парировать удар.

– Ты сам прокололся, чудила! Не просек! – я кивнул в сторону Чупахина, который удалялся по аллее, попадая то в свет, то в тень. Фека застыл.

– То-то я гляжу, ботает грамотно! – произнес восхищенно.

У каждого радость – своя.

– Тогда кумекай – зачем пригласили тебя!

– На пляски, что ли, Лёньку отвести? – произнес друг деловито.

– Точно! – и я умчался.

Именно в этот, последний день, я назначил, наконец, ей свидание. Специально просчитал так, чтобы глубоко не влипнуть. Я все же бултыхнулся рядом с ней, и мы договорились. Свидание, честно, прошло так себе: мы полночи боролись с ней на осыпающемся глиняном склоне. Меня отвлекали, видимо, угрызения совести, лишая уверенности. Я все представлял, как Фека, один, тащит тяжелого, словно памятник, Лёньку. Душой был там. И телом, видимо, тоже. Лучше было бы Лёньку волочить! Расстались с ней сухо. Но зато – только мой физический (и, видимо, моральный) облик Чупахин одобрил:

– Вот ты, Валерка, отлично отдохнул, молодец! А вы, шахматисты... – Чупахин насмешливо глянул на них. – Словно и не отдыхали.

Лёня виновато вздохнул.

– Работали! – хмуро проговорил Фека.

3

Батя мой, как-то не особо заморачиваясь неинтересными проблемами, «творил свои сорта» в Суйде под Гатчиной – и вдруг до него донеслось, и он примчался.

– Алевтина! Валерка что – больной?

– Спихватился! – усмехнулась мать.

– Давай в Суйду его возьму, отдохнет!

– После Сочи – что ему твоя Суйда? Картошку окучивать? Внуку академика?

Я смутился.

– Я готов.

Хоть в тундру – лишь бы не обидеть никого. Тем более – родителей. И батя мне сразу же, в день приезда в Суйду, заявил (любил яркие идеи), что именно здесь, в старом здании, единственном сохранившемся из имения Ганнибала, где находился теперь отцовский кабинет, был зачат Пушкин! По датам все сходится! «Шутоломный» – как говорила о нем бабушка. Решил батя заняться просвещением сына. Шестнадцать! Уже пора. Фантазер еще тот. Весь в меня. Но с того ли начал? Я был полон иронии.

Однако он уже забыл про меня и жадно поглядывал на стол свой с бумагами.

– Чего делать тебе? – приостановившись, спросил. – Ну... в кино сходи!

И зарылся в очередную статью.

Кино? Тут он обмишурился как педагог. Кино никто не смотрел. «Кина не надо! Ты свет гаси!» И темный зал прерывисто задыхался. Считают, видимо, что раз они трудятся, имеют право и отдохнуть. С размахом! Рук! И ног. Шорохи, шепоты: «Не надо!» – «Да подожди ты! Дай я сама!» Кто-нибудь, интересно, смотрел на экран? Совсем потеряли стыд – к моему восторгу... Интересное кино!

Вернулся я оживленный. Батя на минуту переключился на меня:

– Ну что? Поживешь?

– Да!

– Тогда, может, и поработаешь тут? – обрадовался он.

– Можно, – согласился я.

Кто работает, тот – живет!

И вот я в конюшне. И ароматы – пьянят! Как будто я тут родился! Или, во всяком случае, был зачат. Как бередают организм запахи прелой упряжи, навоза – словно это было первое, что я вдохнул. Советовал бы парфюмерам сюда заглянуть. Кони гулко бьют копытами в стенки, косятся глазом, тяжело вздыхают: запрягать пришел? Едкий запах их пота, сладкий аромат сена... Рай!

Конюх устроил себе ложе в крайнем стойле – седла, чересседельники, хомуты и прочая мягкая кожаная утварь, брошенная на сено. Одно из уютнейших виденных мной помещений. Живут люди! Разумеется, хозяин лежал, развалился, одна нога (в кожаном сапоге) привольно вытянута, другая поджата. Кнутом (кожей обмотана и ручка) он похлопывал по ладони. Властелин!

– Чего тебе? А-а. Директоров сынок. Запрягать, что ли?

– Да! – глаза мои, видимо, сияли.

Он надел на плечо хомут, взял чересседельник и остальную упряжь.

– Нравится тебе тут?

– Да!

Он кивнул удовлетворенно. Подошел к высокой белой кобыле с таинственной кличкой Инкакая. Такая вот Инкакая. Белая и могучая. Кося взглядом, попятилась.

– Стоять! – он надел ей через уши кожаную уздечку. – Подури тут мне! – вставил между желтых ее зубов в нежный рот с большим языком цилиндрическую железку, прищелкнул и, не оборачиваясь, повел кобылу за собой. Та послушно шла, стуча копытами по мягкому дереву и шумно вздыхая. Директорский тарантас стоял, выкинув вперед оглобли. Конюх, покрякивая, впятил кобылу между оглобелей, хвостом к тарантасу, кинул на ее хребет чересседельник.

– Ну – запрягай! – он с усмешкой протянул мне хомут.

– А... – я застыл.

– Ну, тогда смотри!

Теперь я умею запрягать лошадь (и, надеюсь, не только лошадь, но и саму жизнь). Хомут, оказывается, напяливается на голову лошади, а потом и на шею, низом вверх, и только потом переворачивается в рабочее состояние.

Отец, хоть и директор селекционной станции, запросто вышел к не запряженному еще экипажу (такой человек) и азартно поучаствовал в процессе, затянув подпругу, упершись в хомут ногой, что сделало вдруг все сооружение, включая оглобли, натянутым как надо, похожим на планер – сейчас полетим! И даже кобыла, словно приобретя крылья, зацокала нетерпеливо копытами и заржала. Отец сел в тарантас (он слегка накренился), протянул руку мне.

– Ну! Давай!

– Какой сын у вас! – восторженно проговорил конюх, подсаживая на ступеньку тарантаса меня.

– Какой? – отец живо заинтересовался.

– Нравится ему тут! – проговорил конюх-карьерист. Хотя какая карьера могла сравниться с его работой? Даже мое бурное воображение отказывало!

Я восторженно кивнул. Отец ласково пошебуршил мне прическу. Я смутился – и он, кстати, тоже. Стеснялись чувств.

– Н-но! – произнес отец с явным удовольствием, и сооружение тронулось.

Мы поехали по полям. Отец держал вожжи, иногда давал их мне.

– Нравится?

Я кивнул. Прекрасные виды на работающих в полях!

Но пришлось слезть с этой высоты. На следующий день в шесть утра отец привел меня «на наряды» – распределение работ – и ушел к себе!

Ко мне подошел бригадир с острым облупленным носом (ну, конечно же, предупрежденный), поглядел, вздохнул.

– Ручной труд предпочитаешь... или на кобыле?

– ...Второе! – пробормотал я.

– Второе тебе будет на обед! – усмехнулся он. – Но я тебя понял.

Восторг переполнял меня. Ожидание чего-то. Ловил хмурые взгляды: «Тебя бы сюда на всю жизнь – не лыбились бы!»

В воскресенье я, как прилежный мальчик, директорский сынок, стоял на берегу, над розовой гладью пруда, не отводя глаз от поплавок. В этом пруду (как уверял отец, вырытом еще пленными шведами) ловились даже лини – тонкие, матовые и без чешуи. Самые древние рыбы.

Пахнуло алкоголем. Но я уловил не только алкоголь... что-то из ароматов кинозала. Она! Обычно она была не одна. И очень даже не одна! Но сейчас – с подружкой. Встали вплотную за мной, едва не касаясь сосками моей спины. Даже тепло ее дыхания на шее! Перехихикивались... Но этого мне было мало, чтобы к ним обернуться. Или – слишком много? Все внимание – поплавку.

– Вот с этим пареньком я бы пошла прогуляться, – насмешливо проговорила ударница труда.

– Да ты что? – прошептала подруга. И зашептала совсем тихо, наверное: «Это директорский сынок».

– Ну и что? – грудным своим голосом, во всем его диапазоне, произнесла ударница порока. – Уволят? – добавила вызывающе.

Ей хотелось действий, а я стоял как пень. «Трудный клиент!» – как говорили мы с приятелями несколько позже.

– Встретиться бы с ним на этом самом месте... часиков в шесть! – произнесла она достаточно громко.

И они, хихикая, ушли. Уши мои раскалились. Я еще долго не двигался – вдруг они рядом. Наконец, расслабился, но не настолько, чтобы обрести здравый смысл... Долго, тщательно смазывал удочку – иначе нельзя! Но как ни мотай – от главной темы не отмотаться: «Что это было? В шесть часов? Через час?.. Не может этого быть!» И какова же была у меня сила воображения (при отсутствии воли), что я доказал себе: «Ну конечно же, она назначила в шесть утра! Можно много успеть!»

И я пришел в шесть утра! Хорошо, что она не начертала чего-нибудь на песке! Отправился «на наряды» с чистой совестью.

...Ось катка то и дело забивается грязью, каток (бревно) не крутится, и лошадь сразу же останавливается. Тяжелее тащить. Надо сгрести с бревен лишнее. Бока лошади «ходят». Устала. И вот – демарш: она поднимает хвост, маленькое отверстие под хвостом наполняется, растягивается, и «золотые яблоки», чуть дымящиеся, с торчащими соломинками, шлепаются на землю. Наматывать *это* на каток мы не будем, иначе этот аромат – и само «вещество» тоже – будут с нами всегда. Уберем вручную с пути. Ну что, утонченный любитель навоза? Счастлив? Да! Можно катиться дальше.

«А у меня есть выносливость!» – понял я.

Тут я дал слабину: съехал с лошадей к ручью – поплескаться подмышками, умыться лицо. Ну, и побрызгать на лошадь. Кожа ее, где попадали капли, вздрагивала, она прятала уши и вдруг заржала. Надеюсь, радостно. Но бревно впятить обратно на бугор долго не удавалось, вспотели с моей кобылой, хоть снова мойся. «Сладкий пот труда. Но двигаюсь не туда!» Этот каламбур я, решившись, сказал вечером отцу.

– И куда ж ты стремишься? – усмехнулся он.

И обнял за плечи. Для него это – максимум. Но я был счастлив. Хоть в грусти сошлись.

– Слушай! – он вскочил. Опять его гениальная идея стукнула. – Смотри!

Он выставил вперед два пальца – средний и указательный, один над другим.

– Вот это – ты! – он провел по среднему пальцу, торчащему горизонтально.

– Ну? – нетерпеливо произнес я.

Не нравится никому, когда его с пальцем сравнивают.

– А вот это, – он провел по указательному, задирающемуся вверх. – Твой друг!

– Какой это друг? – ревниво воскликнул я.

– Ну, неважно. Сначала вы вместе, рядом. Незлучные вроде бы. Но он уже, – провел по указательному, – постепенно, сначала еле заметно, задирается вверх, поднимается! А ты... – он с гримасой отвращения провел по среднему, который не только шел ровно, а даже свисал – ...нет! – безжалостно произнес.

И закончил любимой веселой присказкой:

– Видал миндал?

Веселится!

– А почему это я внизу?

– Хочешь наверху быть? Так поднимайся!

Новая школа! Ближе к дому... И – всё? Или это жизнь дарит подсказки? Ведь последний год. Наблюдая школьную жизнь, сообразил: новому ученику легче преуспеть. Пока есть еще к тебе интерес – и среди учителей тоже... Кто ты? Ответь! Отличник. Оживление в зале. И остается только уроки выучить, делов-то. Батя привел отличный пример: телегу трудно только с места толкнуть, а дальше она катится вроде сама! И ее скорее подтолкнут, нежели остановят: катится весело, глядеть приятно! Поэтому отличникам скорее добавят балл, а двоечнику урежут, если рыпнется. Все должны быть на своих местах. Иначе учителя с ума сойдут! Пока тебя не знают – можно стать любым. Телега жизни катится с веселым грохотом!

Иногда, конечно, тянуло назад. Хулиганы («с прежней школы», как сказали бы они) оказались с нежной душой! Были тронуты, что я именно их вспомнил из всех... но отличников и в новой школе хватало. А у этих... душа! Чуть не начал читать им свои стихи... но некогда было! Мы деловито шныряли в душном зале, освещенном лишь крутящимся шаром с блестками, в тесной толпе танцующих. Клуб фабрики «Лентрублин»! Только для избранных! «Смотри – эта годится?» – «Эта? Полы мыть!» Высокомерно уходим. Дела.

Спускаемся по черной лестнице вниз. «Тут без шухера!» – «Спокойно! – говорю я. – Водка прозрачная, и стаканы прозрачные. Никто и не увидит, что мы пьем!» Усмехаются. Настоящие друзья! Ценят! Не то что эти отличники (взять того же меня, но это – тайна), которые любят только себя. Но здесь я – другой! «Певец в стане воинов». Поэтому должен быть цел.

Что губит некоторых? Мне кажется, завышенные надежды на воздействие алкоголя. Выпил... и ничего. Разочарование. Деньги потрачены. И приходится добираться буйством. Впрочем – кто чем. Неформальный лидер наш, Костюченко, стойкий второгодник, пренебрегший знаниями ради свободы, выпив стакан, тут же окаменел на лестничной клетке. А его верный оруженосец Трошкин продемонстрировал, наоборот, необыкновенную подвижность: выпив стакан, пулей вылетел на улицу (может, подташнивало?) и, описав абсолютно правильный полукруг, влетел в сквер и упал на скамейку. «Подходяще!» – как говорил мой отец.

Убедившись, что с Трошкиным все в порядке, я вернулся к Костюченко. Стоит! И будет стоять! А я, похоже, – свободен!

Выпил ли я мой стакан, хотя ничто вроде бы к этому не принуждало? Да. Иначе все это выглядело бы не спортивно. Вдумчиво выпил. Ну, да. Омерзительно. Но не более того. Ничего трагического (лично для меня) тут не вижу. Мне кажется, большинство людей просто наигрывают, потому как надеются, выпивая, на нечто большее, чем есть.

Я огляделся окрест. Танцы, видимо, на сегодня отменяются. И я пошел домой. Умно, что я учусь в другой школе! А друзей моих буду навещать. Изредка. Прихоть эксцентричного миллиардера. Восторг! Может быть, он частично связан с употреблением алкоголя? Не исключено. Рассмотрим.

– Ты где был? – спросила мама, но не трагически.

Наверное, потому, что никакой трагедии не увидела.

И что-то мне подсказало, что говорить ей правду не стоит.

– В планетарии, – четко ответил я.

– Разве он ночью работает? – усмехнулась мама.

И добавила добродушно:

– Ладно. Иди спи.

И я почувствовал: какую-то проверку прошел успешно. И время от времени ходил к ним и, как ни странно, не стеснялся именно им читать свои первые стихи, простодушно одобряемые.

И все устроилось, жизнь пошла. И вдруг – сверхдлинный звонок в дверь. Но вроде бы зачет по алкоголизму я уже сдал? Пересдача? Открыл. Фека! Зачем? Еще один гость из прошлого? Но он же давал мне поддержать свою финку... в трудный момент? Но тот момент уже миновал. Стоп! Он и сейчас может сгодиться... Кстати пришел. Не могу вспомнить, из какого писателя: «Привычно и целеустремленно пьян»? «Не столько приехавши, сколько выпимши!» – как шутили мы с друзьями-отличниками в новой школе. «Не в замше, но зато поддамши». Работа с Лёнкой, видимо, доконала его.

– Я должен... поблаго... дарить... Алеф-фтину Васильевну!

– О! Давай! – я втолкнул его в мамину комнату. – Вот, мама. Пришел поблагодарить.

Фека, уже только кивком, подтвердил свое намерение. Мама, как я и думал, обрадовалась.

– А, Фека! Садись.

И он сел. Кстати – на мой стул. Для меня – табуретка.

Мама сидела за столом в сиянье настольной лампы. В круг света попадала и младшая моя сестра Оля, тоже за столом, а далее – мы. Исчадия тьмы.

– ...Тогда я продолжу? – строго сказала мама.

– Конечно, мама! – сказала добрая Оля.

Мама у себя в институте, будучи председателем профкома, писала стихи к праздникам и ко дням рождения и лучшие помещала в стенгазете, которую рисовала сама. Но жизнь привела ее к прозе. Мама старалась читать ровным голосом, без нажима – как бы это сочинение не про нас. Но нажим все равно был!

«В круг света от настольной лампы вошла девочка с волевым лицом и упрямым лбом.

– Мама! – взволнованно проговорила она. – Я не понимаю, как образованный человек, доктор наук, член партии может бросить семью, в которой дети еще не кончили школу и не определили свою судьбу!»

Наверное, я должен спиться по этому сюжету? Не обещаю! А вдруг сейчас пойдет текст про меня? Перетерплю. Рассказ уверенно клонился к тому, что заблудший отец в конце вернется и покается... и слышать это было невыносимо. Не вернется он!

– Пардон! На секунду! – я вскочил, выбежал.

Не могу! Все равно слышно. Кинулся к туалету. Наверное, лучше не закрывать, чтобы они слышали плеск струи? Но и это меня не реабилитирует. Я шел назад... и остановился у двери.

– Да-а! Душевно, Алевтина Васильевна!

Рецензент! Я был убит. Кого я привел в свою жизнь?

– Вот видишь, Оля! – произнесла мама. – Я говорила тебе – у Феки есть душа! Он все понял!

Стоп! А у кого, значит, ее нет?

– А как же, Алевтина Васильевна, ваш сын? – проговорил Фека. – Пусть едет, разберется с отцом. Я пацанов могу подключить.

– Не надо, Фека! – вздохнула мама. – Он ничего не хочет. Я давно поняла: у Валерки закрытая душа.

Ничего себе. Мама говорит! Толчком, видимо, послужило то, что я съездил к отцу в Суйду уже после того, как они развелись. И – ничего не рассказал. Но зато взял у бати деньги, которые он мне сунул, смущенно проговорив: «Это тебе на год!» Но каково это маме? Говорила всю жизнь: «Да Егор безграмотный!» Так чего же ждала? А он при этом – доктор наук, автор знаменитых сортов проса, ржи! Поэтому и мои успехи она как бы не замечает: «Вылитый Егор». Какой я еще могу быть? Отца я на веревочке не привел – души нет. Мама права.

Фека трагически молчал – чем подтверждал ее мысли. Ход его!

– Можете рассчитывать на меня, Алевтина Васильевна!

– Ну, что ты говоришь, Фека! – она засмеялась.

Что-то я разгорячился... Но жить надо. И возьми себя в руки. Я открыл дверь и вошел, с фальшивой улыбкой, как и положено человеку с закрытой душой.

Фека, весь выложившись, дремал. И впервые я поглядел на него с завистью. Если бы я столько выпил – тоже, может, был бы с открытой душой? Нет. Наверяд ли.

– Все! Подъем! – я растолкал его. – На выход! Мама, я провожу его?

Мама вздохнула. Конечно, грустно расставаться с душевным парнем. Но не селить же его? Спустил Феку с лестницы. В хорошем смысле. И когда мы вышли, я рассказал небрежно о суйдинских впечатлениях.

– Ха! – произнес Фека. – Приезжай завтра на Шкапина – всё будет!

Ну просто добрый ангел нашей семьи.

И я поехал на Шкапина. Ни черта тут не обнаружить. Закопченные паровозным дымом дома без каких-либо указателей. Друг мой предупредил, что рядом находится – не отличить – аналогичная улица Розенштейна, тоже революционера. Но там – враги. «Могут на перо взять, легко». Конечно, заманчиво. Но приехал я за другим.

«А шкапинские, что ли, меня пропустят?» – «Сошлись на меня. Меня любая собака знает!» – «А вдруг она с Розенштейна убежит?» Но это жалкая моя шутка была оставлена без ответа.

Смотрю... Встречаются дома с выбитыми стеклами, необитаемые. Табличек ни на одном доме нет. И день неудачный, холодный. То ли дело – удушливая атмосфера кинозала в родной Суйде! – вспомнил с тоской. Даже метро «Балтийская» с его серо-холодным вестибюлем, вызвавшим у меня озноб, когда я там вышел из вагона, манило обратно своим светом и теплом. Но если возвращаться – не приеду никуда никогда.

И я шел – не по враждебной ли улице? Впрочем, и шкапинские могли меня «принять» – Фека, я чувствовал, преувеличивал свою власть. Где обещанные доступные красавицы? Прошло лишь непонятное грязное существо неопределенного пола – и всё.

«Кончай сухой мандеж!» – как говаривал Фека. И я вошел во двор с цифрой «13» на стене дома. Без названия улицы. Смерть? В углу неприветливого двора стояла шобла. Каждая эпоха находит правильные слова для сборищ и правильно одевает: поднятый воротник, скрывающий лицо, зловещая вспышка сигареты, натянутая кепка, чтобы не запомнили, если что... Как раз «если что» мне и светит. Смотрятся!.. Шпанский шик! Но у меня не было ощущения, что я приближаюсь к блаженству. И надо их как-то опередить!

Спертый воздух хулиганских дворов. И вот огоньки завспыхивали чаще: надо скорей докурить – и за дело. «Карась заплыл!» Бежать было бесполезно – наряду с другими отточенными навыками той поры отлично работали всяческие подножки, подсечки, после чего преследуемый не падал, а влетал головой в какую-нибудь каменную стену, разбивал лицо в кровь. А если «кровянка» – значит, враг. Дальнейшее предсказуемо. Поэтому я сам кинулся к ним.

– Парни! Клево! Нашел вас! Где пузырь тут купить? К корешу иду – не с голыми же руками?

– А что за кореш? – поинтересовался длинный.

– Да Фека Шашерин! – я сплюнул.

Чтобы можно было еще повернуть, что я ищу его с целью мести.

– А-а! Этот! – орлята переглянулись, как мне показалось, зловеще.

Я похолодел. Розенштейновские? «Сейчас тебе оторвут самое то, что тебя сюда привело!» – я пытался острить, хотя бы с самим собой.

– А сам ты чей?

– С Лиговки!

Еще плевков.

– Не мути! Я там всех знаю! – сказал самый «возрастной».

Но тут из парадной вышел Шашерин.

– Пошли!

С шоблой не поздоровался. Хоть и шкапинские, родные!

– Мелкая сошка! – ответил на мой вопросительный взгляд.

Но и эти мелкие могут вломить – спиной чувствовал. Напряженно здесь. Шли наискось через пустырь. Последнее тепло выдувало ветром. Всякое желание – тоже. Да, затяжные тут «любовные игры».

– Я понимаю, что я по деньгам тебе задолжал.

– Возьму натурой.

– А! – вспомнил он с неохотой. – Тогда тебе сюда! – пренебрежительный жест в сторону общежитий, выстроившихся в ряд.

Бульвар наслаждений!

– Разберешься?

– А есть что-нибудь экзотическое? – я стал фасонить.

– С прядильно-ниточного комбината – устроит тебя?

– Безоговорочно!

Мы вошли в предбанник общаги.

– Лучшие, конечно, намотчицы! – уверенно Фека излагал. – Шпудлищицы... нормальные. Сновальщицы... Ничего. Ну, тазохолстовщицу учить надо от а до я! Тебе, я думаю, надо лет под шестьдесят, с опытом! – духарился он. – Ну как, баб Нюр, – обратился к вахтерше в ватнике, – нравимся мы тебе?

– О! Нафраерился! С чего это?

– Бросил пить и приоделся! – произнес Фека лихую присказку, с которой прошел потом всю жизнь. – Ну что, баб Нюр, пропустим ученика? – кивнул на меня.

– Я и тебя-то не пропущу! – свирепо проговорила она. – На танцы в школу иди!

Я почувствовал вдруг огромное облегчение... Откладывается!

– Пойдем. Тут, видимо, по талонам! – сказал я.

– Ладно! – Фека дернул меня за рукав. – Финт!

Мы вышли на крыльцо, и тут же он вернулся назад.

– Баб Нюр! – закричал он. – Там эта ваша... валяется!

– Так кто ж это такая-то?! – она выскочила.

И мы прошли.

– Финт ушами! – прокомментировал Фека, подмигнув.

Кто не знает: финт – это обманное движение в спорте. Однако никого, кроме бабы Нюры, в этот вечер нам обмануть не удалось. На третьем этаже в красном уголке, где проходили предварительные знакомства, вместо желанных гурий нас встретили курсанты морского училища. «Как прошли бабу Нюру?» – задал я наивный вопрос. «А кто это?» – был ответ. Для них после практики на парусных судах не было проблемой попасть на третий этаж через фасад. Наш «финт ушами» лучше было даже не обнаруживать. «Не любите, девки, море, а любите моряков, моряки дерутся стоя, у скалистых берегов!» – вот что пришлось нам узнать. После короткой «тёрки» мы были выброшены – к счастью, не через окна, в которые проникли они, а сухопутным путем, по ступенькам. Слегка приведя себя в порядок, мы вышли.

– Спасибо, баба Нюра! – небрежно бросил Фека, выходя.

– Не за что! – насмешливо проговорила она.

Мне показалось это обидным. И Феке, видимо, тоже.

– Ничего! – зловеще произнес он. – Ты у меня чпокнешься как миленький! Пиши адрес!

И он, подчеркивая свое всемогущество, сплюнул.

Путешествие поначалу казалось не очень удачным, но оказалось – кровавым. Закончились улицы, а трамвай все шел. «Ни одного встречного трамвая! Путь в один конец?» Но уныние – это еще цветочки. Есть страдания посильней. Дом Нельки, деревянный барак, был на виду. Еще говорят – «на юру». Цепляешься за слова? Не помогут! Коридорная система. Первая дверь. В испуге стал колотить. Открыл могучий рябой мужик в подтяжках. Угрожающе усмехнулся.

– К тебе, что ли? – крикнул он, обернувшись.

– Дом выстудил! – появилась Нелька в халатике.

Первое впечатление: яркая!

– Придавить его? – мужик показал на меня.

– Иди, Вася! Жена заждалась! – Нелька была в ярости.

– Все делай, как я сказал! – произнес он грозно.

– Потом! И – за углом! – дерзко отвечала она.

Мне Нелька определенно нравилась.

Мужик, усмехнувшись и надев какую-то непонятную униформу, ушел.

– Ну? – Нелька повернулась ко мне.

Красивое лицо. Сама щуплая.

– От Феки! – я произнес. – Велел... – тут я слегка замялся, ища удачный синоним.

– ...дать? – подсказала она.

Я задумался. Этот синоним мне тоже не нравился – но мы же не на конференции?

– Пожалуй, да! – благожелательно произнес я.

Похоже, мы найдем общий язык... Но язык-то я как раз прикусил в результате удара. Хлестко. Отработано.

– На! – воскликнула она.

Я залился кровью. И вылетел в общий коридор. Умылся в многоместном сортире и, шмыгая носом, ушел. Настроение, как ни странно, было отличное. И что-то подсказывало: не назови я Феку, могли бы быть варианты... О, да!

Фека явился ко мне и, что радовало, тоже с разбитым носом. Вышла и мама.

– Здравн-нствуйте, Ален-нтина Васин-ньевна! – гнусаво (нос опух) проговорил Фека.

– Вы что – носами столкнулись? – весело сказала она.

– Да! В темноте! – мрачно проговорил Фека.

– Ты темным делам Валерку не учи, понял? – пригрозила она.

– Скорее, я его научу светлым! – пообещал я, даже не подозревая, что говорю правду.

Я читал книгу – и вдруг какой-то резкий звонок! Телефон – давно это заметил – звонит по-разному.

– Валерий!

Голос мамы. Но почему так строго? Из какого-то учреждения звонит? Да! И причем – из какого!

– Я в милиции сейчас нахожусь!

Первый был испуг – маму ограбили. Фека? Но не такой вроде он человек. А какой же?

– Я сейчас приду.

– Отделение на улице Розенштейна.

– Розенштейна? Это опасно! – вырвалось у меня.

– Я знаю! – хладнокровно сказала мама. – И даже знаю, что ты здесь бывал.

Фека накапал... Ну, друг!

– А что случилось-то? Может...

– Приезжай! – оборвала она. Была у нее такая привычка: не дослушивать. Знала наперед – и все остальное отвергала.

Примчался. А вот и друг. Чем-то снова обижен. Несправедливостью! Чем же еще?

На столе милиционерши, правда, лежали шуба рыжего цвета и одна интересная художественная композиция: разрисованные бумажки, по краям – настоящие червонцы. Талант, Фека-то наш! Отец «кукол»!

– Вот – настоящий фармазон растет! – проговорила инспекторша; Фека приосанился. – Раньше у Рябого затырщиком был, теперь вышел на самостоятельную дорогу! У женщины шубу увел.

– Она сама отдала!

– В колонии будешь петь! Вы что-то хотите сказать, Алевтина Васильевна?

– Ты позвонил мне! – мама обратилась к Феке. – И зачем?

Что удивительно – с мамой он заговорил совершенно иначе.

– Да заставили меня! Заболел там... один. Я учиться хочу.

– Чему? – спросила мама.

– Вот, – и он почему-то указал на меня.

– Это похвально! – произнесла мама. – Да, – она повернулась к инспекторше. – Мы с Валерием ручаемся за него. Берем шефство!

– А ты, Валерий, что скажешь? – спросила инспекторша.

– Готов! – сумев подавить ярость, произнес я.

И как всегда – податливость наказуема!

– Как же ты допустил такое? – накинулась она на меня. – Твой друг прогуливает школу, хамит учителям, а недавно был уличен в краже денег у учащихся. Твой друг!

Для дружбы, я бы сказал, это опасно. Особенно – бесцеремонность его. Насчет тех, «кого мы приручили», граф Экзюпери, я думаю, погорячился. И если бы не мама... с комсомольским задором ее!

– Аттестат зрелости он получит у нас. И за поведение мы тоже ручаемся! – опередила она мой ответ. С которым я, собственно, и не торопился.

– Мы – команда! – Фека вдруг вскинул кулак.

Где научился?

На первое наше занятие он вообще не явился, на второе – еле дополз, с опозданием на час. И тут впервые увидел меня в ярости – и даже испугался. Хотя шкапинские, по его мнению, не боятся ничего.

– Слушай! – сказал я. – Ради тебя я не буду менять свои планы ни на миллиметр. Буду учиться сам. Если захочешь присоединиться – давай. Или иди куда шел!

Он морщился, как лимон, который выжимают. Всеми командовал (или так казалось ему), и – вот! Какой-то недомерок учит. Ростом, кстати, на голову выше его.

– Ну, рассказывай... что там у тебя? – разрешил он.

Почти закончили школу! И вдруг – оглушительно длинный, мучительно знакомый звонок в дверь.

– Ураганим!

– С какой радости?

– Она послала меня на! Во! – он разжал кулак. Там сияло кольцо. – Хотел ей!

– Квитанцию покажи.

– Шкапинские берут без квитанций. Сейчас в ломбард – и заураганим.

– Нет. Где его взял – туда и неси.

– Аж прям! Или мильтоны возьмут – или наши порежут. С завода взято! Рябой выносит. Обрато не берет. Ты хочешь, чтобы я Рябому вернул?

– Боюсь, что у меня нет никаких желаний, связанных с тобой.

По малограмотности он принял это за «без проблем».

– Лады! Сдам в ломбард, там наш человек, и – заураганим!

Чтобы нас взяли вместе. Оказывается, это он взял шефство надо мной!

– А что Нелька?! – вдруг вырвалось у меня.

Что это со мной? Неужели – чувства?

– Говорит – с краденым кольцом не венчаются!

Он почесал фингал. Нелька молодец! Любуюсь ею!

– Ураганим!

– Спасибо за щедрость. Но я в тюрьму не хочу. Другие планы.

Я маме решил это рассказать, после колебаний.

– Да, я в курсе уже. Зотова звонила. Рябого взяли. Теперь ищут кольца. Я уже позвонила Ваське Чупахину...

– В санаторий Феку? Гениально!

Мама подняла тонкую бровь. Так делала всегда, если сердилась.

– Ему другой санаторий светит, на Севере. Восемнадцать уже есть ему, второгодник заядлый. Велела Ваське все его связи напрячь, чтобы прямо сейчас, не дожидаясь призыва, забрали Феку. А ты собираешься что-то предпринимать?.. Ясно! – закончила разочарованно.

Вспомнила, видимо, какой я!

Фека пришел на другой день, взбудораженный.

– Прикинь! Прокатило. Менты в ломбард – а кольца там нет.

«Знаю!» – чуть было не сказал я.

– Кто-то выкупил его!

– А кто бы это мог быть? Не догадываешься?

– Не! – он даже зевнул.

Широкая душа мелочами не заморачивается. Прокатило – и всё. Конечно, радовало, что карающая рука не дотянулась до меня. Пока... Но Фекина тупость – бесила. Должно же его всё это как-то пронять!

– Это твой ангел был. Оцени! И живи теперь так... чтобы не было ему стыдно.

– Да-а?! – Фека был потрясен.

На святое любая душа ведется.

– И смотри, чтобы он не бросил тебя! Так что ты отныне святой.

Святостью я, кажется, его перегрузил.

– Свезло, думаешь? – понял все это так. – Прикинь! И тут же повестку в армию принесли.

Во совпадение!

– Совпадение тоже кто-то организует. Повестка – это о тебе от Чупахина привет.

– Ну, Васька! – Фека утер слезу.

Я скромно молчал.

– Ну чего? Ураганим? – жизнерадостно предложил он.

– А иди-ка ты... в армию! – сказал я.

– А ты знаешь, под чьим началом Фека будет служить? – мама смеялась. – Того самого Лёньки, которого он в Сочи таскал. Я думаю, что теперь Лёнька должен пылинки с него сдувать! Армия, конечно, не Сочи, но все же Феку мы с тобой спасли!

– Спасибо, мама.

И мы с ней даже выпили – за все хорошее... И все сбылось.

4

Я четко шел на золотую медаль, но кое-кто сумел разглядеть мое «второе лицо». Даже я про него на время экзаменов забыл! Зло особо опасное, потому что скрытое! – такими разоблачениями увлекались тогда. И Елена Георгиевна, преподавательница английского (гордящаяся своей принципиальностью), сумела-таки меня разоблачить и на выпускном экзамене влепила четверку. Раскусила меня! Хотя «на первый взгляд» я отвечал хорошо – но она смотрела глубже. Наша классная, Людмила Дмитриевна, увидев меня, кинулась в экзаменационную, где услышала приговор: «Он ставит себя как отличник, а знает на четыре!» Тоже верно. Хотя «ставить себя» тоже надо уметь. Пролетаю! Но еще не пролетел?

Я пришел домой. Длинная комната была залита солнцем. Бабушка только помыла пол, и старые желтые половицы слегка «дымились» и пахли гнильцой. «Надо все запомнить!» – почему-то подумал я. Определяется твоя жизнь. Без золотой медали хана. Я могу играть только роль отличника! Для остальных... не хватит органики, и ты всюду провалишься. Мысль работала необыкновенно четко. У тебя – час... если еще результаты не отослали в РОНО. И ты прекрасно уже знаешь, что делать. Иди! Зябка? А как же!

Везло мне когда-то! Красивая улица Чайковского, одна из любимейших, вдохновляющих меня, – а не какой-нибудь безликий квартал. Май! Все цветет. Поликлиника с фигурными стеклами любимого (может быть, с того раза) модерна. Мраморная лестница в стиле «волна». А вот это надо убрать – подсвеченные изнутри стеклянные столбики с цветными фотографиями всяческих язв, последствий дурного образа жизни. «Убери, Еремей!»

В кабинет врача я, однако, вошел скромно. На самом деле я действительно был робок, что кстати. Интеллигентная женщина в белом. И я взволнованно ей все рассказал – имитировать волнение не пришлось.

– А сам-то ты как оцениваешь свой ответ? – строго спросила она.

– Ну-у... Можно было поставить пять! – с обидой сказал я. – Но можно и четыре! – честно добавил я.

– Так сделай так, чтобы было «нэ можно»! – улыбнулась она. – Вижу, как это важно для тебя... Поэтому ставлю тебе пять!

– Где?!

– В справке. Пишу: тридцать восемь и пять.

– Обещаю, вы не пожалеете!

И обещание держу.

В кабинете директора был траур. Собрался весь педагогический состав. ЧП! Укатилась медаль, которая бы украсила школу. Тут же сидела и Елена Георгиевна, ее тоже сумели расстроить. Когда я, стерев улыбку с лица, скорбно положил справку – просияли все. Не скажу про Елену Георгиевну. «Подготовился!» – проговорила она на пересдаче с легким презрением к приспособленцам.

И в 1957 году я оказался в ЛЭТИ – Ленинградском электротехническом институте! Годы стараний, а также страданий даром не прошли! И вот – институт: умные, интеллигентные, веселые друзья. А преподаватели, это чувствовалось, тоже совсем недавно были как мы. Общались запросто. Здесь действительно можно было выразить себя. Преподаватель теории поля играл с нами в капустнике, сочиненном студентами, и мы смеялись вместе. Были сюжеты из классики – но в нашем переложении.

1. Каренина хочет кинуться под поезд, падает плашмя, и тут из-за кулис появляется мальчик в коротких штанишках и тащит на ниточке крохотный паровозик. «Ту-ту!» – кричит он тоненьким голоском. Оскорбленная Каренина вскакивает и, злобно пнув паровозик, убегает.

2. Раскольников приходит к старухе-процентщице с топором, замахивается, чтобы убить ее... но попадает в полено и раскалывает его. Замахивается снова, юркая процентщица ускользает... и так он раскалывает все ее дрова. Старушка дает ему пятак, он гордо его показывает и удаляется. Аплодисменты.

Вокруг оказались лучшие из разных школ – институт был тогда одним из самых притягательных. Веселые, умные ребята и, кстати, прелестные девушки, идущие навстречу благородным порывам.

Однажды мы задержались с друзьями и подругами у меня на несколько дней (мама уехала в Москву к Ольге, вышедшей замуж), и вдруг рано утром тревожно запела дверь, и мы застыли с фужерами в руках. Картина «Завтрак на траве», без «ню». Было ясно, однако, что девушки не приехали на раннем метро. Бутылки сияли в лучах рассвета. Мама молча кивнула и прошла к себе.

– Это конец? – спросил Слава, мой друг.

– Давай, Слава! Иди! Мама тебя любит! – подтолкнул его я.

И Слава пошел. Минут через пять я подкрался к маминой двери, припал.

– Да что ты, Слава! – весело говорила мама. – Я вовсе не волнуюсь! Я знаю – Валерка умеет пить.

Эта была одна из самых важных фраз, услышанных мною от нее, за что я ей вечно благодарен. Живем с размахом!

Уметь пить и уметь не пить – разные вещи. Мы выбрали первое. Помню, рядом с Адмиралтейством, на Неве, был плавучий ресторан-дебаркадер, и совсем недавно, кажется, мы тут справляли мальчишник перед женитьбой нашего друга. Мы первокурсники, он был из провинции, недавно вернулся из армии и жениться ехал к себе домой... Так что мы заодно и познакомили его с нашим прекрасным городом. Помню, мы даже помогли ему купить золотое кольцо, что в те годы было непросто. Мы заняли крайний столик на верхней палубе, с видом на золотой шпиль Петропавловской крепости, раскрыли в центре стола коробку и любовались золотым сиянием кольца, гармонировавшим с сиянием шпиля, а также зубов некоторых посетителей. Помню вечерний блеск Невы, теплый ветерок, алкоголь, блаженство. И тут наш друг Петр решил вдруг вкусить запретных радостей, которых он прежде был лишен и, видимо, будет лишен и в будущем. Он забирался на сцену, шептался с оркестрантами, потом объявлял в микрофон: «Посвящается прекрасной незнакомке. Танго „Целуй меня“!» И так пять раз! И шел приглашать одну и ту же прелестную даму средних лет, сидевшую, кстати, с мужем-полковником и сыном-пионером. Нашего друга, упрямого провинциала, привыкшего всего достигать упорством, препятствия не смущали, а только еще больше убеждали в правильности выбора. Соглашавшихся сразу он не уважал. И все повторялось снова. Да – наш неотесанный друг не стал еще утонченным ленинградцем! Наконец, полковнику это надоело – вспыхнула честная мужская драка, и после мощного удара полковника Петр рухнул на наш столик.

Честный полковник не стал его добивать, наоборот, дружески посоветовал Пете пойти освежиться, и тот, с удивительным для него послушанием, выкрикнул: «Есть!», быстро снял с себя верхнюю одежду, аккуратно сложил ее на стуле, вышел на палубу (верхнюю) и маханул в воду. Последовал мощный всплеск, но мы даже не обернулись: видимо, для Петра это было вполне нормальным развитием событий – а у нас на столе, к счастью, еще оставались яства.

Отвлек нас пронзительный женский крик. Что еще, интересно, смог он отмочить, находясь при этом в воде? Картина, которую мы увидели, выйдя на палубу, – одна из наиболее красочных, виденных мной. Какой-то абсолютно черный человек карабкался из воды на дебаркадер. В то время крупнотоннажные суда смело заходили и швартовались в устье Невы, и консистенция мазута была вполне достаточной для того, чтоб превратить нашего белесого

Петра в негра. Мы были в те годы элегантно – и не очень хотели контактировать с человеком в мазуте. Он слишком расширил спектр дружеских услуг, которые мы могли бы оказать ему при той степени духовной близости, что между нами была. Да и был ли это наш Петр? Это надо бы обсудить не спеша. Между тем силы покидали «пришельца», точнее «приплывца», и влезть на дебаркадер и продолжить пир у него не получалось. Все шло иначе, нежели он хотел. Не его день! Хоть и прощальный. Над ним стояла повариха в белом колпаке и била его по голове поварешкой на длинной ручке. Над вечерней водою плыл протяжный звон. А мы буквально застыли, созерцая, как прекрасен наш город с воды, на закате, который покрывает все золотом. Чуть слышно доносились крики слабеющего Петра, перекрываемые мелодичным звоном. «Нет! – решили мы. – Человек, тем более по имени Петр, не должен пострадать в нашем городе. Ведь мы – петербуржцы!» Мы приблизились к красавице-поварихе, готовившейся нанести новый звонкий удар по голове нашего друга, мягко остановили ее руку и сообщили ей, что это вовсе не диверсант карабкается на наше судно, а, наоборот, счастливый жених. Тут она подобрела, протянула ему рукоятку поварешки, вытащила и потом даже позволила жениху вымыться в душе. Петр появился вымытый, прилизанный, где-то даже элегантно и, снова взяв микрофон, публично извинился – «за предоставленные неудобства», как выразился он. И зал, находившийся под впечатлением чудесного вечера вокруг нас, дружно зааплодировал. Мы снова сели за стол и подняли бокалы: за пейзаж за окном, за эту минуту, когда все мы счастливы.

И вдруг – ужас сковал наши члены. Не было кольца! Исчезло вместе с коробочкой! «Украли!» – мрачно сказал наш Петр. В этот момент формировалось его отношение к нашему городу. «Нет!» – сказал я.

Я вышел на сцену и объявил, что у жениха нашего пропало кольцо. Что тут сделалось! Все бросились искать! И дамы в вечерних платьях, и кавалеры во фраках – рухнули на колени и поползли. И нашли! Нашел – пионер, сын того самого полковника, с которым наш Петр только что бился. Пионер поднял кольцо, и оно засияло! Папа-полковник похлопал его по плечу. Наш Петр, прослезившись, сказал, что это лучший день в его жизни, и после этого стал преданным питейцем. И так, и только так и должно все происходить в нашем городе.

Но он принимает не все! Однажды я шел по пляжу в Солнечном, где по выходным собирались все наши. И вот я их увидел в уютном углублении между двух дюн. И чем, вы думаете, они занимались в это чудесное утро? Читали книгу! Вслух! Точнее – читал Слава Самсонов, а остальные катались от хохота. Что читал? Книгу популярного советского автора, четырежды, кажется, лауреата Ленинской премии. Что ж это за дивный текст? Разве можно смеяться над произведением такого автора – если он не хочет? А он явно не хотел такого эффекта, писал серьезно и даже с пафосом. Но...

Вот наш герой, партийный секретарь из медвежьего угла дальней Сибири, такой крепкий, видный мужик, в которого сразу влюбилась красавица-герцогиня, стоило ему оказаться в Италии в составе делегации... Ну, а в кого ей еще влюбиться, посудите сами? Была замужем за герцогом-хлюпиком, но, естественно, разочаровалась... И – вот! Настоящий «сибирский медведь»! И, забыв о приличиях высшего света, она сразу стала ластиться к нашему секретарю.

– Скажите, из какой ткани ваш костюм? Вы шили его в Париже или в Нью-Йорке?

– Нет! – рявкнул он. – Костюм сшит из ткани нашей районной фабрики, нашими мастерами! А ты чего думала?

Может, именно из-за суровости героя герцогиня потеряла голову окончательно и устремилась вслед за ним в Сибирь, кстати – с малолетним сынком от нелюбимого ею мужа-герцога. В Сибири она назойливо следовала за своим избранником по всяческим займам, падам и запаням, не отставая ни на шаг, все еще надеясь на женское счастье. Сначала она умоляла жениться на ней, суля миллионы и замки, но это оставило равнодушным его, потом соглаша-

лась принадлежать ему и без брака (сынок ее, кстати, тоже был без ума от нашего богатыря). Потом она уже предлагала ему миллионы без себя, с обещанием, что она скроется и больше не появится никогда!.. На этот вариант он хмуро согласился – при условии, что средства будут вложены в местную деревообрабатывающую промышленность. И она – расцвела! В смысле – деревообрабатывающая промышленность. Герцогиня-то как раз уехала вся в слезах. Вот как надо обходиться с миллионершами, а уж тем более – с герцогинями русскому мужику!

Но читаем дальше. И сердце простой русской бабы дало трещину под влиянием суровых чар нашего героя. Понятно – он не давал ей надежд. Тем более – на службе. Она как раз работала под его началом в обкоме. И вдруг! Измотанный делами, он дал слабину. Не подумайте плохого – поехал на рыбалку. Отъехав чуток, с чувством облегчения вылез из опостылевшей черной «Волги» – и пошел в лес! Он уходил, как простой смертный (да таким он в душе и был!), босиком по росе, неся ботинки из спецраспределителя – на прутике за спиной! Сжимается сердце. Слезы умиления душат нас... Он ладит костерок, ставит палатку... вот что на самом деле ему по душе. Ночью он слышит хлюпающие по лужам шаги. «Чай, хозяин балует», – думает он (хозяином в тайге называют медведя), всаживает в ствол смертельный жакан и отбрасывает полость... Перед ним стояла Она. Нет – не герцогиня, а та, из обкома, не сдержавшая себя! И он – не сдержал себя. То есть – дают нам немного «человечинки»... Мол, и нам ничто человеческое не чуждо. Но в каком образе предстает Она! Не подумайте – не голая. Русская женщина не из таких. А из каких?.. Читаем. «Она была в длинных брюках, но босая. На животе ее свисала банка с червями...» Черви, видимо, для клева? Тут и я, до того болеющий за коллегу-лауреата, не выдержал и захохотал. Много спорят о том, что погубило советскую власть. Она же сама и погубила себя, нелепо раздулась – и лопнула. Как и ее литература. Разумеется, я имел в виду самую позднюю, непомерно раскормленную, тупую и злобную. Судите сами.

Наутро после роковой рыбалки было экстренно собрано бюро райкома. И «девушка с червями» была наказана за ее «безоглядность». «Девку надо спасать!» – так, по-партийному, сформулировал наш герой. И ее гуманно послали учительницей в глухое село. Расшвырял наш герой своих девок на Запад и на Восток, и это – правильно. Не до них! Дел по горло. Тем более и жена дома имелась, да и детки... Вот так. А автор получил Ленинскую премию – кажется, уже четвертую.

Ну, и вполне естественно, что после такого появились всяческие насмешки, гротески и фэнтези. К этому и шло. «Советская литература – мать гротеска!» Такое вызывало резонанс в душе, и хотелось создать нечто подобное.

И однажды, читая в аудитории на лекции по марксизму-ленинизму советский детектив (других тогда еще не было), я вдруг громко захохотал и был выдворен. Не успел даже сказать, что я смеялся не над марксизмом, и уж тем более не над ленинизмом. Над обычным детективом. Но что-то удивительное там было... «Петров и Прошкин шли по территории завода. Вдруг грохнул выстрел. Петров взмахнул руками и упал замертво. Прошкин насторожился». Его друга убили у него на глазах, а он всего лишь «насторожился». Какая выдержка! И я тут же сел возле аудитории на подоконник и написал рассказ.

СЛУЧАЙ НА МОЛОЧНОМ ЗАВОДЕ

Два лейтенанта, Петров и Брошкин, шли по территории молочного завода. Вдруг грохнул выстрел. Петров взмахнул руками и упал замертво. Брошкин насторожился. Он подошел к телефону-автомату и набрал номер:

– Алло! – закричал он. – Алло! Подполковник Майоров? Это я, Брошкин. Срочно вышлите машину на молочный завод.

Брошкин повесил трубку и пошел к директору завода.

– Что это у вас тут... стреляют? – строго спросил он.

– Да это шпион, – с досадой сказал директор. – Третьего дня шли наши рабочие, и вдруг видят: сидит он и молоко пьет. Они побежали за ним, а он в творог залез.

– В какой творог? – удивился Брошкин.

– А у нас на четвертом дворе триста тонн творога лежит. Так он в нем до сих пор и лазает.

Тут подъехала машина, и из нее вышли подполковник Майоров и шестеро лейтенантов.

Брошкин четко доложил обстановку.

– Надо брать, – сказал Майоров.

– А как вы найдете его? – поинтересовался директор.

– Творог вывозить! – приказал Майоров.

– Так ведь тары нет, – сокрушенно сказал директор.

– Тогда будем ждать, – предложил Брошкин, – Проголодается – вылезет.

– Он не проголодается, – сказал директор. – Он, наверное, творог ест.

– Тогда будем ждать, пока весь съест, – вздохнул Брошкин.

– Это будет очень долго, – сказал директор.

– Мы тоже будем есть творог, – улыбаясь, сказал Майоров.

Он построил своих людей и повел их на четвертый двор; там они растянулись шеренгой у творожной горы и стали есть. Вдруг увидели, что к ним идет огромная толпа. Впереди шел пожилой рабочий в очках.

– Мы к вам, – сказал он, – в помощь. Сейчас у нас обед, вот мы и пришли...

– Спасибо, – сказал Майоров, и его строгие глаза потеплели.

Дело пошло быстрее. Творожная гора уменьшалась. Когда творога осталось килограмм двадцать, из него выскочил шпион. Он быстро сбил шестерых лейтенантов. Потом побегал через двор. Брошкин бежал за ним. Никто не стрелял. Все боялись попасть в Брошкина. Брошкин не стрелял, боясь попасть в шпиона. Стрелял один шпион. Вот он скрылся в третьем дворе. Брошкин скрылся там же. Через минуту он вышел назад.

– Плохо дело, – сказал Брошкин, – теперь он в масло залез.

Рассказ озадачил меня. Чтобы разобраться в нем (а заодно и в себе), я подсунул его моему приятелю Феликсу, редактору нашей стенной факультетской газеты «Интеграл». И даже перепечатал с рукописи в машинописном бюро. Такое разрешалось.

– В другой жизни! – сказал Феликс, возвращая мне текст.

– Почему? У нас же в стенгазете полно хохм!

– Таких у нас в газете не будет никогда! – произнес он громко и четко (возможно, в расчете на прослушивание?).

– Ну зачем так уж «никогда»? Откуда мы знаем будущее? – сказал я, тоже по возможности четко.

– ...Ну ладно! Оставь! – сказал он, минуту подумав. – Посмотрим, что можно сделать.

Рассказ я увидел сразу у нескольких однокурсников, во время лекции. Так я впервые столкнулся с ксероксом-размножителем. Но сначала это не испугало меня. И напрасно. Волновало другое: как читают? Смеются? Наверное, это хорошо? Но, говорят, нельзя так распространять?

– А тебе-то что? – грубо ответил Феликс, когда я спросил. – Фамилии-то твоей там нет!

– А почему, кстати?

– Ты что? В тюрьму захотел?

– А ты? – спросил я.

– Думаю, что у тебя шансов все-таки больше! – усмехнулся он.

Вот так произошла моя первая публикация. Между сумой (или суммой?) – и тюрьмой. Но все-таки я был горд. Товар-то пошел. Хотя и без моего имени. Но все уже знают, подмигивают.

Ко мне подошел комсорг нашего курса Рувим Тойбин.

– Ну что, золотая молодежь? Будем работать?

– Да я уже работаю как могу.

– Не за той славой гонишься.

– Так скажи мне, за какой надо. Я тут же и погонюсь. Слава – дело хорошее.

Он заскрипел своими железными зубами.

– Политинформацию проведешь. Вот и увидим твое лицо!

– Ты математику-то пересдал? – вырвалось у меня.

– Неважно! – прохрипел он. – Речь сейчас не о том!

– Мне кажется, мы как раз в этих стенах для этого.

– Прежде всего мы коммунистами должны стать!

– Ладно. Такая тема устроит тебя: «Киров в учебе как пример для нас»?

Уж Киров, считал я, не подведет – с детства сохранил эту веру.

Давненько я не бывал у Фаины Васильевны! Теперь – даже не сразу нашел. Оказывается, они переехали в шикарный дом на Кировском же проспекте, заняв настоящую квартиру Кирова, где он жил.

И она вдруг озадачила меня.

– Думаешь, надо?

– Но он же учился! – вскричал я.

– Ну, тогда читай... Вот это будет твое место.

Сотрудники музея по воспоминаниям современников Кирова, а также по документам восстановили всю его жизнь! По несколько папок за каждый год...

Детей из низших слоев общества, малообеспеченных, в училище было много. В институты их не брали, поскольку гимназию они не закончили. Да их бы туда и не приняли. Для них – низшее техническое училище. (Где преподавание и воспитание, надо сказать, было отменным.) Больше всех из учеников страдал Сережа Костриков, будущий Киров. Ел крайне скромно или вообще голодал. Со второго класса, когда уржумские попечители перестали платить за него, он был вынужден зарабатывать деньги на учебу и пропитание, сам став учителем богатых детей. Общество вспомоществования иногда помогало ему, но нерегулярно. При переходе из второго в третий класс педсовет училища присудил ему награду за успехи. Интерес Сергея к науке, к знаниям был неисчерпаем, он старался полностью освоить тот предмет, который его интересовал. Малейший дефект в чертеже заставлял Сергея переделывать его заново. Когда надзиратель составил список к освобождению от платы за обучение, Сергей попросил заменить себя в списке товарищем более бедным, по его мнению.

Вот воспоминания преподавателя Жакова:

«Сергей страдал малярией. И вот среди уроков я наблюдал, как он, скорчившись, перебогаясь от приступа малярии, сидит за партой и продолжает внимательно слушать объяснения преподавателя.

Я организовал экскурсию в Зеленый дол и на Паратский судоремонтный завод зимой 1903 года. Собрались на вокзале. Сергей был изможденный, дрожащий. Я решил отправить его домой: одет он был явно не по-зимнему – поношенная легкая шинель служила ему и лето и зиму. Но он не захотел лишаться интересной экскурсии, ссылаясь на то, что малярия дело привычное, а экскурсия редкость. Когда вернулись в Казань, Сергей настолько ослабел, что его пришлось отвезти на квартиру на „барабусе“ – так назывались возницы на крестьянских розвальнях. Оставалось поражаться его неисчерпаемому запасу энергии».

Вот тут бы мне и прерваться. Для политинформации вполне достаточно. «Вот вам пример, как надо учиться! И от кого! От нашего вождя». Финиш! Но у меня кипела душа. За что же его, в конце концов, убили?

И я, не удержавшись, стал читать дальше... На каникулы из Казанского технического училища он приехал в Уржум. В Казани он дружил со студентами из Уржума, и все они были революционерами. И даже те, кто были приняты в лучшие вузы, считали необходимым уничтожить этот строй. Их ссылали, но они и в ссылке жили весело и дружно, уверенные, что революция – самое важное, что может быть. Когда читаешь про то время, кажется, что все студенты только этим и занимались. Быть не революционером было даже неприлично – значит, ты за «охранку» и за царя, продажная шкура! Вот такая «диктатура свободы». Даже не знаю, хотел бы я учиться тогда?

Воспоминания уржумской соседки. К ней вошел вдруг молодой симпатичный мужчина, волосы гладко зачесаны назад – сразу и не узнала. «Сереза, ты?» – «Я. Можно я оставлю пока у вас мой портфель? Спрячьте куда-нибудь до вечера». Зная уже «своих» ссыльных, которые жили у нее, соседка понимала, что в портфеле. Запрещенка! Могут и посадить. И Сергей понимал, что она это понимает, и тем не менее – «вежливо попросил!» Вот тебе и «деликатный Сереза»! Раньше, когда она приносила им, голодным детям, хлеб, – ужасно смущался, переживал: «Не хотите ли квасу – у нас квас очень вкусный!» А теперь – подставляет соседку с доброй улыбкой и безо всякого смущения! То, что нормальным людям нельзя, революционер делать обязан! С этого и началась трагедия, считаю я.

Вот этой фразой я и закончил политинформацию. И добавил еще: «Так что учитесь, ребята! Это самое лучшее!»

– Так, а Киров учился или нет? – донесся из зала простодушный, а на самом деле – коварный вопрос.

Только что мы говорили о его прилежании. Пришлось уточнить...

Закончив Казанское низшее техническое училище – и снова с отличием, – Сереза приехал в Томск. Только там были курсы, готовящие к поступлению в высшие учебные заведения выпускников низших заведений... как Казанское техническое. Но оказался Сереза не в высшем заведении – а в тюрьме! Сергей подружился с рабочими-печатниками, изготовлявшими прокламации. Вышли на «вооруженную демонстрацию», стреляли в полицейских и казаков, разгоняющих демонстрацию, и были жертвы с обеих сторон... «В тюрьме он тоже, конечно, занимался! – добавил я. – Но уже исключительно марксизмом-ленинизмом!»

Это был как раз наш нелюбимый предмет. В зале послышались смешки.

– Прекратить! – звонко выкрикнул Рувим. – Так какой пример подает нам великий Киров? – он повернулся ко мне.

– Пример, я считаю, опасный! – произнес я. Раз уж разжег тему, надо отвечать самому. – Сам Киров с восторгом вспоминает в своих мемуарах, как он вытащил через окно училища печатный станок – собственность училища, который, впрочем, сделал он сам, проявив больше технические и организационные способности. И он имел на это право! И даже был обязан как революционер! И на станке стали печатать листовки, призывающие к свержению строя через... поражение России в Русско-японской войне! Вы бы сейчас такое сделали? – обратился я к залу.

– Да нет... Зачем? – послышались возгласы.

– Вот и не делайте! – сказал я.

Но чего-то не хватало мне как начинающему литератору. И я добавил:

– В подвале нашего вуза тоже стоят станки – токарный и фрезерный, на которых мы проходили практику. Но мы не будем их красть. Сейчас эпоха другая. Так что будем учиться на хорошо и отлично. А станки использовать в мирных целях!.. А в вуз Киров так и не поступил!

– А в тюрьме заочного отделения разве не было? – выкрикнул кто-то.

Зал захохотал.

– Прекратить! – рявкнул Тойбин. – Переходим к комсомольскому собранию. Кто за?

Вразнобой, но подняли руки.

– Я предлагаю первым такой вопрос повестки дня: об исключении, – повернулся к ведущей протокол и диктовал по слогам, – Попова Валерия из комсомола... за антисоветские и антистуденческие выступления! Все, впрочем, протоколировалось. Катюша, вы вели протокол?

– Да! – пискнула Катюша.

– Поэтому я предлагаю – решением нашего комсомольского собрания единогласно (так и сказал – и как в воду глядел) исключить Попова из рядов ВЛКСМ... За антисоветское... и антистуденческое выступление! Кто за?

– Подождите... надо же обсудить! – поднялся Миша, мой друг.

– Вы что-то хотите сказать? – Рувим повернулся к нему.

– ...Нет, – Миша сел.

– Кто-то еще хочет что-то обсудить? – Рувим брьющим взглядом обвел зал. Тишина. Никто не был готов. Если бы я еще кого подготовил! Так нет. «Увлёкси!»

Встал неожиданно в президиуме пятикурсник Коля Окунев, член парткома.

– Я предлагаю все-таки... не калечить парню жизнь! И исключить его из комсомола с формулировкой «за отрыв от коллектива»! Возражений нет?

Оживление в зале! Облегчение! Все сразу заговорили по-доброму: «Ну, за „отрыв“ – можно!» «Отрывами» он и верно страдает!.. Как-то игнорировали тот факт, что из комсомола – значит, и из института. Свободы захотел? Покрасовался? Так получи! Зачем же еще увливать? Ждали, что я чего-то еще скажу. Но я все сказал... что к этому дню подготовил.

Подняли руки. Правда, некоторые при этом опустили глаза... что, несомненно, было фактом проявления гражданского мужества. Все, переговариваясь, выходили из зала. В основном доносилось: «А что он думал? Все ему сойдет? Заигрался!» Тут я, пожалуй, согласен. Подошла ко мне только Катюша из комитета комсомола, которая вела протокол:

– Не расстраивайтесь так сразу! Еще райком должен утвердить! Посмотрим.

Как мы мрачно шутили у нас во дворе: «Посмотрим, сказал слепой!»

Райком комсомола Петроградского района находился в улочке, наискосок от Музея Кирова, и я на ходу поглядывал туда. Если что – принесу документы, подтверждающие мой доклад. Там еще много неопубликованного!.. Так что неприятностей мне хватит надолго. Тут я усмехнулся. Бодрил себя. Вон мой друг Тойбин шпарит по другой стороне. Наверное, по моей шел, но перешел. О! Мороженое! Может, съесть стаканчик... пока я еще студент. Возможно, через какой-то час я буду уже не студент. И оно покажется горьким... Восхитительно оно. С сожалением с ним расстался при входе в райком.

Роскошное здание. Типичный для Петроградки купеческий модерн. В последний раз заходишь туда. Полюбуйся! Прошел внутрь... никто не остановил, не спросил. А я уже вопрос подготовил вежливый: «Скажите, пожалуйста, а где здесь исключают?» Можно даже идиотского восторга добавить. Почему нет? Одна гуляем! Так не у кого спросить!

Открыл красивую дверь... Да! Мероприятие такое ведется! За столом президиума сидели люди (ну, а кого же ты ждал?). Но, самое поразительное, в самом центре, под знаменем, распластанным по стене, сидел... человек, который мне действительно важен, вот если он скажет – а говорить будет, видимо, он... то, значит, все правильно. Так мне и надо. Ему поверю. Юра! Мой дворовый кумир! На которого я так мечтал быть похожим... Вот не ожидал, что так будет

серьезно – в смысле, для моего самочувствия. Во – сводит жизнь! И, видимо, правильно. Он даже не глянул на меня... что наполняло меня дурными предчувствиями. Я совсем упал духом. Юра будет меня исключать. А так на меня надеялся! Прямо мне это говорил. Но вышло не то, на что он надеялся! А почему? Мне кажется – я все правильно делал. Я поднял глаза. Но Юра разговаривал с сидящими с ним с какой-то кислой улыбкой... Так это он, может, делает не то?.. Красная скатерть! Из такой шаровары у меня были! Может быть – рассказать? Во-во! Еще и госпитализируют! Юра наконец-то поднял свои голубые глаза... Ледяные! А ты чего ждал?

– Итак, – тусклым, скучающим голосом заговорил (спасибо, что без вдохновения). – Рассматривается вопрос... – значительные паузы всегда умел держать, – ...об утверждении исключения из рядов ВЛКСМ, – как-то скороговоркой, мне стало даже обидно, мог бы торжественней, – ...студента первого курса ЛЭТИ Валерия Попова.

Как сиротливо тут прозвучали звуки моего имени!

– Райком комсомола Петроградского района... такого-то числа (так и произнес – «такого-то») на своем заседании рассмотрел предложение комитета комсомола первого курса физического факультета ЛЭТИ об исключении Валерия Попова из рядов ВЛКСМ...

Зачем то же повторять?!

А ведь он когда-то хвалил меня!

– Из текста представленного протокола, – чуть оживленной заговорил, – нам абсолютно не ясно, в чем состоит вина исключаемого, в чем именно он нарушил устав ВЛКСМ. Райком комсомола Петроградского района не посчитал убедительными обоснования и не утвердил исключение из комсомола студента ЛЭТИ Валерия Попова. Председателю комитета Тойбину Рувиму выносятся порицание за необоснованное обвинение. Всё!

Он захлопнул грессбух и, так и не глянув на меня, ушел в маленькую дверку.

Я сразу не понял... Не исключили, что ли? Вот это да!

«...А куплю-ка я себе эскимо!» – решил сразу. Купил. Вкус тот же! И даже еще вкуснее! Ура.

– Рубани! – сказал кто-то рядом со мной. Это был Юра. Так говорили мы, когда кто-то выходил во двор, бахвалясь съедобным.

– Кусни! – я протянул ему эскимо.

Рувим с той стороны улицы смотрел с ужасом, как первый секретарь Петроградского райкома ВЛКСМ откусывает от моего эскимо. Поймав взгляд Рувима, я пожал плечом: «Что делать? Отказать невозможно».

Тут уже накинулись на меня друзья, которые, оказывается, были рядом.

Медленно, порой мучительно, но процесс морального выздоровления пошел. Как? Я и говорю – «мучительно». Мы с друзьями решили связать себя узами брака, создать семьи. Но произошло это после суровых испытаний, которые необходимо было пройти. Жизнь преподнесла нам урок!

...Недавно, проезжая по Кольскому полуострову в печали (все было занавешено пургой), я вспомнил вдруг, что когда-то здесь было довольно весело. Хибины были (не знаю, как сейчас) наимоднейшим местом, сюда съезжались покрасоваться лучшие люди Питера и некоторых других городов – успешные, спортивные, элегантные, веселые – и безоглядные, как мы. Весь мир был у наших ног – как та сияющая снегом гора. Безоговорочно веря в свое всемогущество – загорелые, гибкие, каждый мускул звенел, – мы съехали однажды с друзьями вчетвером вниз на лыжах и решили продолжить путь в поисках необычных приключений (обычными мы были уже пресыщены). Внизу оказалось темновато. К тому же разыгралась пурга!

Наконец, мы выбрались на глухую улицу. Почта, родная до слез, с голубенькой вывеской. «Надеюсь, почтальонша – хорошенькая?» – высокомерно подумал я... Как же! Старуха. И даже

– две. И тут работал некий телепатический телефон? – вскоре появились еще две, ничуть не краше. Их стало вдруг четверо... как и нас! К чему бы это?

Хихикая, они сели на скамейку напротив, как на деревенских танцах. Потом появилась вдруг горячая кастрюля пахучего зелья, в котором путались какие-то травы, но которое тем не менее мы почему-то принялись жадно пить. Вскоре я стал замечать, что мы сделались довольно неадекватны – хохотали, расстегивали рубахи. Опоили нас? Вдруг Слава, мой ближайший друг, взмыл в воздух. От зелья шел пар – видно плохо. Но я успел разглядеть, что самая маленькая, коренастая – настолько маленькая, что почти не видно ее, – вскинула моего ближайшего друга на плечо и куда-то понесла. Зачем? Догадки были самые страшные – и, увы, почти оправдавшиеся. Руки-ноги его безвольно болтались... а ведь сильный спортсмен!

– Вячеслав! – вскричал я.

Но тут и сам неожиданно взмыл в воздух. Куда это я лечу? Хоть бы одним глазком увидеть, кто меня несет? Может – хорошенькая?.. Но навряд ли. Кроме вьюги и завывания ветра, я ничего не видел и не слышал. Наконец, прояснилось. Но притом – испугало... Совсем другая изба, значительно более бедная, чем даже почта... Окоченел я без движения, на морозе задубел – и, как бревно, тяжело был сброшен возле печи. Сожгут меня, как полено? Ну и пусть. Воля моя была почти парализована зельем. Наконец-то я разглядел мою похитительницу... Суровая охотница, на крупного зверя. Себя почему-то не представлял в роли жертвы. Напрасно!.. Воображение мое тоже, видимо, было парализовано. Она появилась в белой длинной рубашке, похожей на саван. Я задрожал. Видимо, начал отогреваться. Хозяйка моя вдруг полезла в раскаленную русскую печь через узенькую дверцу. Зачем? Потом я вспомнил из рассказов отца, что в русской печи не только готовят, но и моются... Но с чего ей вдруг примерещилось – мыться? И, как вскоре выяснилось – в интересной компании. Вдруг из печной тьмы высунулась костлявая ладошка и поманила меня. Я замер.

Кто-то стучал в заиндевелое окно... лыжей! – разглядел я. Иннокентий махал ладонью куда-то вдаль.

– Уходим! – понял я.

Спасибо ему.

Сдвинул набухшую дверь – и в пургу. Лучше замерзнуть! Мы, дрожа, собрались на площади. Или это был широкий такой перекресток?.. Ушли?

– Моя бежит! – вдруг закричал я.

Она неслась в белой рубашке, как маскхалате, с каким-то длинным предметом в руке. Ружье? Ну это как-то уж слишком!

– Валим! – скомандовал Иннокентий.

Из соседних улиц выскочили и остальные амазонки, с разными, преимущественно недружелюбными, предметами – и криками.

Уже и вьюга нам была не страшна! Обмерзшими и какими-то молчаливыми мы вскарабкались на гору, на нашу базу...

Как и положено у русских людей – последовал долгий мучительный самоанализ, переоценка ценностей. Мы поняли, что дальше катиться нам некуда: предел!

По возвращении в город Вячеслав, Михаил, Иннокентий и я сразу же женились на своих девушках, которым столько уже лет до того морочили голову, а Иннокентий к тому же вступил в Коммунистическую партию, а затем разбогател. Так что и политика порой приносит плоды.

5

Но меня уже ждала другая стезя.

Приведя свою тетю в восторг,
Он приехал серьезным, усталым,
Он заснул головой на восток
И неправильно бредил уставом.

Утром встал – и к буфету, не глядя!
Удивились и тетя, и дядя:
Что быть может страшней для нахимовца —
Утром встать – и на водку накинуться!

Вот бы видел его командир!
Он зигзагами в лес уходил,
Он искал недомолвок, потерь,
Он устал от кратчайших путей!

Он кружил, он стоял у реки,
А на клеши с обоих боков
Синеватые лезли жуки —
И враги синеватых жуков!²

Аудитория поднималась амфитеатром, и он сидел на самом верху.

– Пусть староста еще прочтет! – крикнул он оттуда.

Староста литературного кружка – это я. Я, конечно, знал всех местных знаменитостей. То есть слышал о них, начиная с Гиндина, Рябкина и Рыжова – авторов знаменитой «Весны в ЛЭТИ», на несколько лет затмившей все, происходившее в нашем городе. Но они уже отучились, и все ушли в литературные профессионалы. Из более поздних я слышал, конечно, и о Марамзине, прославившемся своим буйным поведением еще в институте и теперь пишущем гениальные рассказы, которые, естественно, все боятся печатать. Известный уже... хотя бы правоохранительным органам. Просто так запрещать не будут!

Из института мы вышли вместе. Я поглядывал на него. Восточные скулы. Прилипшая от пота ко лбу черная челка. Маленькие глазки его жгли меня насквозь, словно угли. Ну? Что? Так и будем идти? – как бы спрашивал он. Так просто, ровно и гладко, как ходят и живут все, он никогда не жил и не ходил. Мы прошли с ним метров десять вдоль решетки Ботанического сада – видно, это был максимум скуки, на который он соглашался. Но тут терпение его иссякло. Он оторвался от меня и стремительно догнал идущую далеко впереди пожилую тучную женщину в растоптанных туфлях, с двумя тяжелыми сетками в руках.

«Ну вот, увидел какую-то свою родственницу, – решил я. – Сейчас возьмет ее сетки и уйдет с ней. И моя еле наметившаяся связь с большой литературой растает навсегда!»

С замиранием сердца я понимал, что встретил человека исключительного, с которым резко изменится моя судьба. Но к совсем резким изменениям не был готов. Хотя их жаждал. Но новый друг мой сбежал... Нет – не сбежал. И то не родственница! – понял вдруг я. Как-

² Попов В. «На даче».

то слишком много и быстро, идя рядом с ней, он говорил и прикасался при этом вовсе не к сеткам. Потом он так же бегом вернулся ко мне и, беззаботно улыбаясь, пошел рядом.

– А, ничего не вышло! – бодро проговорил он.

Я оторопел.

– А что, собственно, тут могло выйти? – удивленно подумал я.

Я, конечно, догадывался, что иногда у мужчин и женщин что-то выходит. Но так – кидаться за первой же и это ей предлагать?! Марамзин, как я чувствовал, никак не был утомлен или огорчен своим неудавшимся марш-броском, их он, как я вскоре увидел, совершал по несколько сотен в день, всегда готовый к победе и ничуть не огорчаясь отказами. Без всякого перехода он с той же энергией заговорил о литературе, с упоением цитировал Андрея Платонова, о котором я раньше и не слышал, но сразу же был сражен одними только названиями, которыми Володя сыпал, как горохом. «Сокровенный человек», «Усомнившийся Макар», «Впрок», «Ювенильное море», «Луговые мастера», «Река Потудань», «Джан». Володя цитировал огромные куски – я еле успевал их проглатывать, хотя прежде вроде неплохо все схватывал. Надо же, какими густыми бывают фразы и даже слова! При этом я совершенно не мог так стремительно и полностью, как Володя, отдаваться беседе, параллельно я отмечал, что навстречу нам попало несколько неплохих студенток, а одна даже глянула на нас с интересом и улыбкой и вполне могла бы с нами пойти, в отличие от той пожилой полной женщины, который он абсолютно напрасно отдал столько огня. Но женщины его в тот момент не интересовали – к литературе он относился не менее, если не более, страстно. И самых очаровательных девушек равнодушно пропустил: не в ту минуту явились! Что не исключало, как вскоре понял я, что он, отключившись от литературы, тут же кинется за другой подвернувшейся женщиной. Он их настолько боготворил, что возраст, сложение, социальное положение, внешность не играли для него ровно никакой роли. В каком-то смысле более благородного рыцаря я в своей практике не встречал.

Стремительно разговаривая и столь же стремительно двигаясь, мы перешли Карповку и вышли на Кировский проспект. Здесь, у столовой «Белые ночи», Володя вдруг резко затормозил. Мы разглядели интерьер через витрину, быстро вошли и сели за столик, где два других стула занимали морские курсанты, как оказалось, прежде незнакомые. Володя нервно стучал пальцами по столу, а я прислушался к разговору соседей... вдруг поймаю сюжет?

– Вот я – ни за что не хотел в морское училище, ругался с родителями, чтобы туда не идти! – заявил прыщавый курсант. – Все же заставили, пошел. Теперь глубоко страдаю.

– У меня все наоборот, – усмехнулся второй. – Я жутко хотел в училище. Родители были против. Но я настоял. Результат тот же самый, что и у тебя!

Сочувствуя друг другу, они помолчали. Я кинул вороватый взгляд на Володю. Услышал? Усёк? Украд? То же самое я прочел в злобноватом взгляде Марамзина. Мы с ним, как те два курсанта, учимся одному, об одном страдаем.

– Мы должны напиться! – хмуро и решительно сказал Марамзин.

– Что так?

– Надо! – отрубил он. – А то может не получиться!

О том, что «может не получиться», я боялся даже догадываться. Но «остаться на берегу» я не мог: существуют в жизни моменты, когда надо броситься со скалы, даже не зная зачем, – иначе всю жизнь будешь сожалеть о чем-то непознанном.

Подошла равнодушная официантка. Оба курсанта сделали почти одинаковый заказ, ошеломивший меня: я вообще-то выпивал раньше, но не знал, что бывает так.

– Двести грамм водки. Так? – первый курсант словно бы еще спрашивал у кого-то согласия. – Так! – где-то он находил подтверждение своим мыслям. – Две бутылки пива. Ликер мятный, двести. Сто грамм «Спотыкача». И бутылку клубничной настойки! – закончив заказ, он с облегчением откинулся и улыбнулся коллеге.

Второй заказал примерно то же, но уже более уверенно. Официантка записала это все абсолютно равнодушно. Чем же можно было ее удивить?

– Нам, каждому, – то же самое, что и им! – Марамзин указал пальцем на курсантов.

Видно, считал своим долгом быть со своим народом в трудную минуту. Курсанты на нас совершенно не реагировали, словно нас за столом и не было. Впрочем, и мы скоро перестали различать их, а потом и друг друга, а вскоре и самих себя.

Очнулся я почему-то на Марсовом поле. Узнал пейзаж. Происходил ужасный бой, и мы с Марамзиным принимали в нем самое деятельное участие. Какие-то крепкие, большие люди выталкивали нас из узкого подъезда в большое и светлое пространство, выталкивали так, что мы падали. Марамзин тут же пружинисто поднимался и радостно устремлялся туда, где нас уже привычно встречала плотная, мускулистая мужская плоть. Хоть бы женская была! При одном из штурмов нам удалось нанести несколько хлестких ударов по врагу и получить в ответ удары просто-таки сокрушительные. Потом нам заломили руки и снова выкинули с крыльца. Некоторое время мы отдыхали на траве, и Марамзин снова поднялся. Я шел за ним, челюсти ныли в ожидании новых ударов. «Вот, оказывается, какой он, путь в большую литературу! Кто бы мог этого ожидать?» И – новая яростная стычка. При этом, что интересно, часть мыслей текла спокойно и ровно, как освещенные закатным солнцем кучевые облака, которые я с умилением наблюдал при очередном нашем отдыхе.

– Куда же мы все-таки так рвемся? – проплыла неторопливая мысль.

Видимо, под воздействием побоев я начал постепенно трезветь.

Реальность удалось восстановить значительно позже и далеко не полностью. Оказалось, мы рвались так яростно вовсе не на литературный олимп, а в торфяной техникум, который располагался возле Ленэнерго, в роскошных казармах Павловского полка, построенных гением классицизма Стасовым. Видимо, следуя с Петроградской, мы пересекли Кировский, в прошлом и будущем Троицкий, мост. И шли через Марсово поле, тогда площадь Жертв Революции, где чуть сами не «пали жертвою». Володя, чья чувственность была необыкновенно обострена, сумел сквозь толстые стены учуять в торфяном техникуме танцы и ринулся туда. Неясно, почему эти танцы были под столь могучей охраной дружинников? Почему наши скромные планы встретили столь богатырское сопротивление? Это неважно. Это, как говорится, внутреннее дело торфяного техникума. Главное – я осознал масштаб личности моего нового друга, который в своих устремлениях не желал знать никаких преград! Вот надо «делать жизнь с кого»! Такие и совершали революции. Правда, ошибочные. Но мы-то все сделаем как надо!

И мы сделали это! В какой-то момент ряды защитников торфяного техникума поредели, и мы прорвались туда! Реальность, как всегда, сильно уступала мечте. В тусклом маленьком зале под аккордеон танцевали несколько женских пар, весьма блеклых и далеко не молодых. Мужчин почему-то совсем не было – видимо, все были брошены на битву с нами, теперь на перевязке. Но даже при такой ситуации на появление таких героев, как мы, никто из танцующих абсолютно не прореагировал, никто даже не повернул головы! Мы были оскорблены в «худших своих чувствах»! Эта фраза появилась именно там, хотя использовал я ее значительно позже. Вот так, с кровью, они и достаются! В те годы я фразы больше копил, пока не находя им достойного применения. Но посетили торфяной техникум мы не зря! Правда, мужчины вскоре появились и таки выкинули нас, уже окончательно. Как же тут блюдут нравственность торфяного техникума! Даже трудно себе представить будущее его выпускниц. До прежнего яростного сопротивления мы, достигшие мечты, уже не поднялись и в этот раз оказались на газоне как-то легко.

Тут Володя вдруг радостно захохотал и стал кататься по траве.

– Колоссально! – повторял он.

Эти его мгновенные переходы от ярости к восторгу вселяли надежду, говорили о безграничности его чувств.

– Колоссально! Забыл! У меня ж дома отличная деваха лежит – а я тут кровь проливаю! И мы захохотали вдвоем.

– Пошли! – он решительно поднялся.

Почему я должен был с ним идти, я не понял, но противиться его энергии мало кто мог. Мы пришли в красивый зеленый двор на Литейном. Большие окна квартир были распахнуты. Какой был вечер! У него оказались две комнаты с балконом на третьем этаже, вровень с верхушками деревьев. Нас действительно встретила высокая, слегка сутулая, хмурая девушка. Как он мог такую к себе заманить?

– Ага! Друга привел! – произнесла она мрачно и многозначительно.

Сладкое предчувствие пронзило меня. Однако Владимир почему-то не уделил ей никакого внимания и, резко убрав ее со своего пути, кинулся к столу. Там стояла маленькая старая машинка с уже ввинченным листом. Без малейшей паузы он стал бешено печатать на ней, со скрипом переводя каретку с конца в начало строки. Вдохновению его не было конца. Девушка, зевнув, закурила. Владимир полностью игнорировал нас.

Я уже устал от этих его резких «поворотов винта». Я ушел в соседнюю маленькую комнату и там на детском диванчике уснул. Проснулся от ритмических механических скрипов в соседней комнате. Но то была не машинка! Природа этого скрипа сбивала с меня весь сон! Я даже сел на диванчике и слушал, замерев. Скрип пружин (а это, несомненно, был он) становился все ритмичнее, учащался. Потом вдруг резко оборвался – и тут же, без малейшей паузы, раздался стук пишущей машинки! И действительно, на что еще, кроме этих двух упоительных занятий, стоит тратить жизнь? Эту простую, но гениальную истину я осознал именно в ту ночь! Через некоторое время стук клавиш замедлился, оборвался – и тут же вновь сменился скрипом пружин. Чем сменился скрип пружин – я думаю, ясно. Вот это человек! Жизнь его совершенна! Наконец-то успокоившись, я счастливо уснул. Утром я застал только девушку – Владимир уже стремительно умчался по своим делам.

– А когда он вернется, не сказал? – ради вежливости поинтересовался я.

– Думаю, он сам этого не знает! – улыбнулась она.

«Надеюсь, он не в торфяном техникуме?» – подумал я.

– ... Велел мне вас развлекать до его прихода, – опять хмуро сказала она.

Дождаться Володю у меня не было сил, поскольку я потратил их.

Зимой я вдруг встретил его на улице: он шел стремительно, деловито склонившись, широко размахивая локтями, челюсть его была целеустремленно выставлена вперед, и даже острый нос уточкой, бледный от волнения, казался каким-то целенаправленным.

Я посторонился: похоже, ему было сейчас не до меня. Но он вдруг поднял свои глазки-буравчики, узнал меня, ухватил за рукав, и его бледное лицо, окаймленное узкой черной бородкой и ровной смоляной челкой, просияло.

– Это ты? Как я рад! Как я рад! – открылись редкие острые зубы.

Радость его, при абсолютно случайной встрече со мной, была слегка неожиданной. Честно говоря, я бы не удивился и совсем другим его эмоциям. К примеру, я был не совсем уверен, правильно ли я себя вел, коротая время у него дома после его ухода. Но такие мелочи не волновали его – вряд ли он об этом вообще помнил.

– Я сегодня такой счастливый! – закинув голову, мечтательно закрыв глаза и оскалив зубы, произнес он.

Я тоже считал, что живу неплохо, но такого сильного счастья не испытывал, кажется, никогда.

– Красавицу... встретил? – неуверенно произнес я.

Он глянул на меня недоуменно: о чем я?

– Я написал рассказ!

– А-а!

Я тоже уже знал, что лучше этого не бывает.

– Хочешь почитаю?

Наглый, однако, тип! Я бы тут узлом завязался от волнения – а у него только кончик носа побелел.

– Где? – пробормотал я.

Прохожие толкали нас, рядом грохотали машины. Он глянул на меня, и его смысленные глазки усмехнулись.

– Ну-у, для более секретных дел бывает иногда трудно место найти. И то, как правило, быстро находится. А уж тут! – Цепкие его глазки остановились на входе в стекляшку. – Сюда.

В уютном кафе мы взяли два граненых стакана кофе, сели за столик, уставленный липкими чашками и блюдами. Он с бряканьем бесцеремонно их сдвинул, положил листки и с каким-то завыванием перед концом каждой фразы начал читать. Потом, узнав литературу поглубже, я сумел понять, что этот особый заворот фразы он брал у своего любимого Платонова. То был год, когда на нас как грибной дождь обрушилась долго скрываемая гениальная проза. Я, например, ходил под Олешей, с его лаконичной изобразительной роскошью: «девочка ростом с веник». Володю нес на руках Андрей Платонов, умевший повернуть фразу и смысл каким-то причудливым ракурсом, так что любой останавливался в изумленье и слышал что-то, прежде неслыханное.

Рассказ назывался «Я с пощечиной в руке». На мой взгляд, это лучший рассказ Володи. Оголившаяся потом обязательная экстравагантность его сюжетов, платоновские завихрения речи не казались здесь слишком пересоленными, поскольку ворочались в вязкой, точной, неказистой действительности, пытаясь ее расшевелить, приподнять, показать лучше. Инженер бегаёт по заводу, ища первоисточник своих бед, находит все более и более ранних виновников неприятностей, которые, оказывается, просто делали свои дела, вовсе не думая причинить ему зло, и даже не зная о нем, и даже делая что-то полезное, и просто цепочка последствий так повернулась и хлестнула по герою. Зла никто не планировал, все планировали только добро. А автором первотолчка оказался председатель месткома, героя ближайший друг. Выяснилось, что пощечину, которую герой нес, страстно мечтая ее кому-то влепить, и которая уже «отделилась от ладони и стучала, как дощечка», – некому отдать. И тогда герой подбросил ее, она сделала в воздухе круг и вцепилась в щеку самому герою!

Закончив, Володя с облегчением откинулся на стуле, еще больше побледнев и вспотев одновременно.

– Вообще... здорово, – начал бормотать я. Не то что мне не понравилось – я не знал еще, что принято говорить. – Это все... где ты работаешь?

– Да, – рассеянно проговорил он. – Я работаю. На заводе «Светлана». Начальником отдела информации.

Он еще и начальником отдела работает – всего за пару лет до меня закончив вуз! По всем направлениям мчится! А я?

– Отнесешь в издательство? – пробормотал я.

Его блаженство я ощутил с завистью. Вот надо стремиться к чему! Заодно я хотел развеять и практику литературы. Может, никогда больше он не будет так разнежен и добр.

Марамзин между тем абсолютно не реагировал на мои слова. Он сидел, откинувшись на стуле, широко расставив ноги в мохнатых унтах (одевался он солидно, но необычно), и на его монгольском, хоть и очень бледном лице тонкие бледные губы шевелились стыдливо-грешной, но сладкой улыбкой, словно он совершил что-то запретное и счастлив этим.

– А? – слова мои, долго, словно через космос, шли к нему и наконец дошли, но смысла он не понял. Да, как видно, и не хотел понимать – у него уже и так все было для блаженства. Самый счастливый день – а я просто так помог его счастью разродиться. Почему не покидали стекляшку? Жалко было все это терять – много ли будет еще таких мгновений? Не хватало мелочи – подтверждения, что все великолепно. Теперь я знаю по себе, что нужна какая-то затычка, какой-то еще мелкий конкретный факт, подтверждающий счастье. Счастье испаряется, а этот значок-маячок помнится, и, вспомнив его, вернешь счастье того дня.

– Убираю! – раздался сиплый голос сверху.

Володя поднял сияющие глаза. Огромная багроволицая посудомойка в грязном фартуке и серой марлевой чалме нависла над нами. Неужели она подходит для окончательного торжества блаженства? Судя по тому, как стремительно менялось выражение маленьких черных глаз Володи, – вполне. Какая разница – кто? Еще не подозревая о том, что сейчас на нее обрушится, она несколько даже грубо схватила липкие наши стаканы, поставила на поднос и как лебедушка (в смысле, никак не шевеля мощным корпусом) скрылась в дверях подсобки в дальнем углу.

Остановить Володю сейчас не смог бы целый взвод – он бы, даже не заметив его, прошел насквозь. Замелькали его черно-рыжие унты, как два верных пса, и он скрылся за грязно-белой дверью рая. В исходе дела я не сомневался. Думаю, что ликующей ярости писателя не могла бы противостоять никакая чемпионка кунг-фу: нож из сияющей плазмы режет все! Послышался грохот посуды – оборвался. Если бы борьба продолжалась – продолжился бы и грохот, но там наступила тишина. Счастливая его партнерша не успела, я думаю, проанализировать предложение, потому что его и не было: сразу пошла суть. В плане «делать жизнь с кого» можно бы заглянуть туда – но это все равно что глянуть на солнце или заглянуть в рай. И знаешь, что это самое яркое – но страшно глядеть. Главное – недостойн! Я покинул стекляшку.

Вот такой был мне даден пример для жизни, и я благодарен ему. Исключительность писательского существования, презрение к условностям и преградам – норма для нас. Сперва разобьешь лицо, а после – и голову. Но лишь безудержность и приносит восторг. Ослепительное Володино существование долго грело меня. Хотя, почесывая кудри, я осторожно соображал: не слишком ли ослепительной кометой он влетел в тусклый наш мир? Насколько хватит пламени? Надо ли сразу гореть так ярко – хватит ли горючего на самый важный момент? Но это все мелочи, которые можно обдумывать, когда есть главное – огонь.

Опасения мои отчасти подтвердились. Такое самосгорание, наверно, можно включить, когда ты близок к Нобелевской премии, а тебе ее не дают, – а Володя тратил огонь еще даже не на подступах, а гораздо раньше. Помню, как он впервые привел меня в роскошно мраморный Дом писателей, на какую-то встречу молодежи с рядовым писателем, выделенным как пример нам литературным руководством. Не лауреатов же Сталинских премий нам представлять? Ими нам никогда не стать, там уже сложные материи. А вот этот – нам в самый раз. Примеряйте. Высокий, с пепельными встрепанными кудряшками, с лицом острым и значительным, но разжиженным алкоголем до самых бровей, скрипучим голосом он говорил о долге и обязанностях писателя и, как ни странно, о риске профессии – но так скрипуче и скучно, что было видно: все это давно уже не интересует его. Сказали – пришел с тайной целью показать нам, что лишь водка – окончательный смысл всех наших юных порывов. Стулья скрипели, но все слушали терпеливо: понять можно многое, и не только то, что выступающий говорит. Главный, думаю, урок, который мы тут терпеливо впитывали: только скука, и только она, скука в прозе и скука в поведении, может открыть нам дверь в этот храм литературы. Скука усваивалась – с трудом, но и с пониманием. И тут, громко скрипнув стулом, вскочил Марамзин. Как всегда в минуту ярости, он стремительно побледнел – особенно белыми были крылья носа:

– Да пошел ты! – с такой страстью и наслаждением произнес он, что все почувствовали зависть к нему, каждому этого хотелось – да не по зубам. С грохотом опрокинув еще пару стульев, он выскочил, хлопнув дверью.

Наступила тишина. Ведущий долгое время молчал, потом, взяв себя в руки, продолжил свое скучное и скрипучее с того самого места, где был перебит, словно ничего такого и не было. И все покорно набирались тоски, завидуя Володе, но переживая: куда же он так прилетит? То, что он оторвался от скучной «выслуги лет», которую всем предстояло пройти, было ясно. Но на что же рассчитывал он?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.